

НАШ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

БЕСТ

МИХАИЛ

АНТОНОВ

ДОГОВОРИТЬСЯ

С НАРОДОМ

**Михаил Федорович Антонов**  
**Договориться с народом. Избранное (сборник)**  
Серия «Национальный бестселлер»

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=5011290](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5011290)  
*Договориться с народом. Избранное: Алгоритм; М.:; 2012*  
*ISBN 978-5-4438-0105-6*

**Аннотация**

Литературное творчество Михаила Федоровича Антонова, видного экономиста, публициста, философа, многогранно. Одним из первых много лет назад он забил тревогу о том духовно-нравственном тупике, в который будет ввергнута Россия. Но даже сейчас, когда, кажется, нашу страну ждет незавидная участь, крах по всем направлениям, о чем говорят и пишут открыто все кому ни лень, Михаил Федорович не впадает в пессимизм, предвидит спасительное будущее России и ее народа. Для этого, считает он, всего-то и надо использовать новые подходы в экономике, включающие духовную составляющую, что позволит нашему государству стать мировым лидером в XXI веке.

В новую книгу М.Ф. Антонова вошли его работы по философии и истории, статьи о Пушкине и Гоголе, актуальная публицистика о временах правления В.Путина.

## Содержание

Литературоведение	4
Николай Гоголь – гениальный украинский русскоязычный писатель	4
Гость с Украины наставляет хозяев	6
«Личность Гоголя	10
Антирусская направленность «Вечеров» и «Петербургских повестей»	14
За какую Русь и за какую веру боролись и умирали казаки	22
Украинцы покоряют Москву и Петербург	29
«Портрет» как автопортрет Гоголя	35
Осмеяние пороков или основ государства?	44
В мире мертвых душ	47
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# Антонов М.Ф.

## Договориться с народом. Избранное

### Литературоведение

#### Николай Гоголь – гениальный украинский русскоязычный писатель

Юбилеи великих людей, тем более – гениальных писателей (особенно «круглые»), проходят, как правило, в атмосфере некоторой экзальтации. Произносятся волнующие речи, в которых восхваляются достижения гения, ораторы соревнуются в том, кто скажет слово поцветистее, покруглее и позабористее. Если же у гения были и неудачные творения, провалы, то о них в такие дни говорить не принято, а если и упомянут, то так, мимоходом. Сказать в эти дни прямо нечто противоположное тому, что общепринято, что уже устоялось в общественном мнении, так же неприлично, как откровенно, вызывающе «испортить воздух» в благородном собрании. Или, как говаривал один непопулярный ныне классик, это все равно, что крикнуть «Таскать вам не перетаскать!» при виде похоронной процессии.

Знал я, разумеется, все это, как и правило: упаси боже маленькому человеку говорить, а тем более писать что-либо критическое о великих людях в их юбилейную страду. Никто слушать не будет и уж, конечно, не напечатает. Зато заключают, даже, процитировав вырванные фразы из только что поданной в редакцию, но неопубликованной, с негодованием отвергнутой рукописи, выставят в глазах общества, как невежу и невежду и обвинят в покушении на устои и святыню, если не в чем-либо еще более злодейском. И все-таки в 2009 году, когда мир широко отмечал 200-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, сунулся я было в одно почтенное издательство с проспектом книги о юбиляре, а в одну не менее почтенную литературную газету со статьей «Любящий недоброжелатель России» (о нем же). Слава богу, легко тогда отделался, получил только отказ, но ребра остались целы. Я даже гневной отповеди со стороны «современных напостовцев» не удостоился. Видно, очень уж они были заняты торжественными мероприятиями, и им было не до такой мелкой сошки, как я. Как и положено, во время торжеств было сказано и напечатано немало слов о гении мировой литературы, великом русском писателе.

Чего только не наговорили о произведениях Гоголя за время, прошедшее со дня его смерти, и каких только нелепостей не повторили в дни юбилея! Толкуют об эпопее, широкой картине русской жизни, о размышлениях над судьбами России, о тончайшем знании писателем глубин души русского человека и пр., и пр., и пр.! Но ведь это совершеннейшая несуразица! Это хорошо понимал Владимир Набоков:

«Когда я читаю «Мертвые души», то мне никакого дела нет до того, брали ли чиновники взятки и были ли действительно такие жмоты, прохвосты и дураки среди русских помещиков. Ибо жизнь служила Гоголю, а не Гоголь жизни, или, еще яснее, Гоголь творил гоголевскую жизнь. И я подхожу к его «Мертвым душам», как подхожу к прекрасной картине – не рассуждая о том, как звалась флорентийская цветочница, послужившая для художника моделью мадонны». То есть «Мертвые души» – это игра фантазии Гоголя, для которой рассказанный ему анекдот лишь послужил толчком, «спусковым крючком».

Ведь и сам Гоголь всю творческую жизнь сетовал на то, что российская публика **совершенно превратно понимала** и пьесу «Ревизор», и поэму «Мертвые души», и «Выбранные

места», и другие его произведения. Никогда Гоголь не был сатириком и юмористом, обличителем крепостного права и иных пороков России времен Николая I. Как не был и исследователем души русского человека, автором грандиозной панорамы России, пророком ее грядущего величия. У него просто не было субъективных данных для этого. Увы, дурная традиция живет и процветает, именно она отравила всю атмосферу прошедших торжеств.

России Гоголь не знал (почему – об этом чуть позже) и много раз публично в том признавался. И русского человека не понимал (и об этом – ниже). Никакой картины России не рисовал, он, наверное, рассмеялся бы, услышав такое толкование поэмы.

Я не собирался писать статью или книгу о жизни и творчестве Гоголя вообще, зная, что литература об этом гении необозрима. Да ведь я полностью согласен со всеми оценками величия этого гения художественного слова (и прошу иметь это в виду при чтении всего ниже помещенного текста), за одним единственным исключением: **Гоголь никогда не был русским писателем. Он – русскоязычный писатель из Малороссии.** Сердце его всегда принадлежало Украине, которую он любил беззаветно, причем Украине тогда уже иллюзорной, преимущественно времен расцвета казачества, буйной, хмельной и полной опасностей жизни Запорожской Сечи. А России и русских людей он не понимал и был способен представлять их лишь в карикатурном, просто смешном или жалком виде.

Любовь – высочайшее и благороднейшее из человеческих чувств, если она не укрепляется за счет принижения кого-то постороннего. К сожалению, **Гоголь часто (практически даже всегда) воспевал Украину (будь она в прошлом, XV—XVI веков, или в настоящем) за счет принижения русской (евразийской) культуры и русского (евразийского) человека. Вот почему многие мысли Гоголя вредили становлению русского национального самосознания и способны в еще большей степени усилить неадекватное восприятие России впредь** (повторяю: говорю это при всем уважении к художественному гению Гоголя и восхищении многими страницами его творений).

При всей своей любви к Украине Гоголь понимал провинциализм тогдашней украинской жизни и культуры, а потому для карьеры в любом смысле этого слова надо ехать в Петербург. Именно так он и поступил, и в дальнейшем его творчество разворачивалось преимущественно в русской среде. (Примерно как Фазиль Искандер в XX веке.)

Да, писал Гоголь больше всего о России, точнее говоря, на русскую тему, а это «две очень большие разницы». **О России Гоголь писать не мог, потому что он ее не знал и не понимал** именно потому, что смотрел на нее прежде всего глазами восторженного почитателя казацкого «рыцарства».

И он невольно сравнивал ту героическую (в его понимании) и разгульную Украину с будничной, прозаической Россией, управляемой разными глупыми и самовлюбленными (с его точки зрения) «значительными» лицами («шайкой воров», как он напишет позднее), а главное – руководствовавшимися указаниями из Петербурга и тем самым подсознательно превращавшимися для него в представителей колониальной администрации. А указания этих вельмож выполняли безмозглые и вороватые чиновники. Неудивительно, что его симпатии неизменно оказывались на стороне родной Малороссии. Таким он явился на арене российской литературы, таким и ушел из жизни, окруженный русскими, не понимающий их и не понимаемый ими, хотя и почитаемый (часто сверх меры) многими из них. Гоголь не понимал Россию и русского человека, русская интеллигенция в массе своей не смогла понять глубинную суть творчества Гоголя.

Говорят, человек – единственное существо, которое может видеть то, чего нет, и не видеть того, что есть. Справедливость этой истины нашла очередное подтверждение как раз в отношении русской интеллигенции к творчеству Гоголя – как при его жизни, так и в дни недавних юбилейных торжеств. И сам характер этих торжеств многое говорит о нынешнем состоянии нашей страны и ее интеллектуальной и духовной жизни.

Жизнь и творчество Гоголя – это ни на минуту не прекращавшаяся трагедия. То, что было ему особенно дорого, проповедь, в которой он видел свою миссию и свое призвание, ему не удавалось и внимание широких кругов читателей не привлекало. А те его гениальные творения, которыми восхищалась читающая Россия, а впоследствии и весь мир, он почитал за мелочи, недостойные его таланта, и намеревался отречься от них. Увы, многие литературные критики возводят на пьедестал слабые стороны наследия гения и обходят стороной его подлинные заслуги. Это, в общем-то, не удивительно, ибо такова судьба художника, если он творит в чуждом и отторгающем его мире.

Гоголь, как известно, собирался перевернуть мир, устроенный не так, как (по его мнению) нужно. И первым объектом такого переустройства (гоголевской «перестройки») он избрал Россию. Или, как лучше сказал Николай Скатов, «и в «Мертвых душах», и в «Ревизоре» он (Гоголь) прежде всего хотел обрести точку опоры, чтобы перевернуть целый мир, во всяком случае русский мир, в который он так верил и на который до конца надеялся» («ЛГ», № 14, 2009).

Строго говоря, все творчество Гоголя было попыткой «украинизации» (или, лучше сказать, «оказачивания») России. Он призывал ее свернуть с давно выбранного ею державного, евразийского пути на «истинный» казацко-анархический. Отсюда и многочисленные протесты русских читателей против изображения Гоголем России как клеветнического.

Я, в общем-то, ничего особенно нового не скажу, ибо неадекватность понимания Гоголем России и ее изображения в его творчестве давно уже была показана многими выдающимися деятелями русской культуры, что не мешало им восторгаться его творениями, в особенности их формой. Назову только Василия Розанова, Константина Леонтьева, Андрея Белого, Владимира Набокова. Даже Лев Толстой выставлял оценки некоторым творениям Гоголя, причем по большей части в диапазоне от единицы до тройки. (О современных авторах, более или менее критически относящихся к творчеству Гоголя, будет кратко сказано ниже.) Но и они, критикуя Гоголя как художника, как гения формы и вымысла при пустоте содержания, не понимали мировоззренческой основы этих вопиюще антирусских тенденций в его творчестве. Однако даже эти трезвые голоса, пусть и не раскрывающие глубинных причин его упорного принижения русского человека, во-первых, и тогда не были услышаны, а в наши дни, по сути, забыты. Во-вторых, инерция «общественного мнения», формируемого русской творческой интеллигенцией (которую, как известно, почти всегда отличали оппозиционность к власти – порой открытая, чаще потаенная, и нежелание сотрудничать с государством, сочетающееся с желанием получать от государства разные блага и иные знаки внимания), мешала выработке у массы читателей трезвого взгляда на вещи. Ну, и, в-третьих, критическое состояние современной России требует особой бдительности в отношении идей, которые и по сей день мешают становлению адекватного русского самосознания и которых немало в творениях великого русскоязычного украинского писателя.

Вот и возникает вопрос: «Так ли мы читаем, понимаем и почитаем Гоголя, и не пора ли нам перестать издеваться и над писателем, и над Россией?».

Попытаюсь подтвердить свой взгляд на Гоголя кратким анализом важнейших его произведений, тем более что как раз в связи с юбилеем появилось несколько работ, подающих робкую надежду на то, что время реалистической оценки творчества этого гения близится (о них немного будет сказано ниже).

## **Гость с Украины наставляет хозяев**

Гоголь совсем молодым человеком триумфально вошел в русскую литературу как писатель совершенно оригинальный, ибо у него не было предшественников, как не явилось и последователей. Его «Вечера на хуторе близ Диканьки» развеселили и восхитили самых раз-

ных читателей – от наборщиков типографии до Александра Пушкина, который обрадовался «этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой». Ни Пушкин, ни позднейшие критики **не увидели в «Вечерах» программного произведения Гоголя**. Пушкин, правда, довольно скоро освободился от чар нагловатого гостя, но русская пишущая и читающая публика не вняла предупреждению поэта: «Берегитесь этого малоросса!»

Раз «Вечера» не исследованы именно как программное творение Гоголя, то надо хотя бы кратко остановиться на отдельных составляющих ее вещах (повестях, рассказах, былях, главах – назовите, как вам удобнее, сам Гоголь употреблял все их определения), тем более, что вряд ли многие читатели перечитывали это творение после окончания школы.

Уже первая строка «Сорочинской ярмарки» показывала читателям Украину как райский уголок: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!». И украинская майская ночь не менее прекрасна: «Божественная ночь! Очаровательная ночь!»

А зима? «...месяц плавно поднялся по небу. Все осветилось... Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами... Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие. Чудно блещет месяц!.. как хорошо потолкаться, в такую ночь, между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может внушить весело смеющаяся ночь... И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! И еще белее казался свет месяца от блеска снега». Наконец, памятный со школьной скамьи (не знаю, как сейчас, а в 30-годы этот отрывок учили наизусть) гимн великой украинской реке: «Чуден Днепр при тихой погоде...», как и при любой другой. «Редкая птица долетит до середины Днепра...», хотя на деле жарким летом Днепр мелеет и сильно сужается.

Прекрасна и украинская осень:

«Стаи уток еще толпились на болотах наших: но крапивянок уже и в помине не было. Скирды хлеба то сям, то там, словно казацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег стал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно шеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженной люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец, или проветриться и промолотить в снях залежалый хлеб».

И вообще, в любое время года как же прекрасна была украинская земля!

И какие удалые хлопцы и гарные дивчины, простоватые мужья и лукавые жинки населяют этот земной рай!

Хороши современные парубки и дивчины, но еще краше были запорожские казаки:

«Красные как жар шаровары, синий жупан, яркой цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты... Эх, народец! Станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и – пустится! Да ведь как пустится; ноги отплясывают словно веретено в бабьих руках; что вихорь, дернет рукою по всем струнам бандуры, и тут же, подпершился в боки, несется вприсядку; зальется песней – душа гуляет!» Да, «в старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться».

А вот и воздаяние казакам за их храбрость. Герой повести «Страшная месть» казак Данило Бурульбаш рассказывает своей жене:

«Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками!.. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменя шапками черпали казаки... Каких коней мы тогда угнали!»

Даже «отставной запорожец» Пацюк «жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру..».

И вот эти неустрашимые казаки, – рассказывается в повести «Ночь перед Рождеством», – прибыв в Петербург, в Зимнем дворце падают ниц перед Екатериной II и говорят верноподданнические (если не сказать: холуйские) речи, тогда как они должны были бы ненавидеть ее, уничтожившую Запорожскую Сечь и укрепившую украинских крестьян. А кузнец Вакула, случайно оказавшийся вместе с депутацией казаков, восхитился тифельками императрицы:

«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего, не во гнев будет сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец, ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже Ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!»

Императрица, которой понравилось это простодушие, приказала:

«Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом!»

Кузнец уже хотел было «расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят только мед и сало...», но надо было скорее, снова оседлав попавшегося ему черта, везти чудесные черевички любимой девушке.

Историк и публицист Михаил Саяпин заметил, что в этой повести действуют (помимо прочих): «Солоха, ведьма, постоянно принимающая у себя в гостях черта; Пацюк, силой колдовства отправляющий себе галушки прямо в рот. Зрелый Гоголь, как известно, всем уши прожужжал своим христианством. Так вот, со строгой христианской точки зрения все это называется бесовщиной. И что-то не видно, чтобы Гоголь эпохи «Выбранных мест» каялся в написанном в молодости, как Пушкин – в «Гавриилиаде». Почему? Да потому что это «ридна Украйна», где все мило!»

Но далее в повести следует описание такой страстной любви Вакулы и понявшей красоту его характера, силу и верность Оксаны, что, кажется, это искупило в глазах русских читателей все увлечения Гоголя «черной», едва ли не сатанинской мистикой.

Замечу, что образ Вакулы – это до некоторой степени творческий портрет самого Гоголя. «Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луки. Но торжеством его искусства была одна его картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем ни попало». Счастливо женившись, Вакула разукрасил новую хату: окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах». Это, видимо, все же не было шедевром живописи. Зато «на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: он бачь, яка така намалевана! И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди матери своей». Вот и Гоголь восхитительно описывал всякую нечисть, неплохо рисовал и бытовые сценки, а светлые образы ему никак не удавались.

Конечно, Грицько Голопупенко и Солопий Черевик, как и другие персонажи «Вечеров», не блещут умом и нравственными добродетелями. Не поражают умом и доблестями и милые, но ничем не примечательные старосветские помещики из «Миргорода». Но ведь это «ридна Украина!». Куда там до них скучным москалям, охочим до пошлых сплетен, особенно бездушным петербуржцам! Конечно, и на Украине есть склочники и сутяги вроде Перерепенко и Довгочуна, но это «омоскаленные хохлы», втянутые в западню москаль-

ской бюрократии. Почему-то никто из исследователей гоголевского творчества не заметил, что именно эта противоположность Малороссии и Великороссии станет его лейтмотивом. И хотя в самих «Вечерах», где выработанная антитеза Петербургу присутствует, но не выступает слишком явно, в сознании Гоголя она с самого начала и до самого конца была доминантой.

Но и самое первое произведение Гоголя – «Вечера», доставившее ему славу, очаровало вовсе не всю русскую читающую публику. Некоторые критики называли первые творения Гоголя «сальными», «грязными» не только из-за их простонародного колорита. А благочестивая часть читательского сообщества была шокирована обилием в «Вечерах» чертей, ведьм, колдунов, русалок, выходцев с того света и прочей бесовщины. Дмитрий Мережковский даже написал работу «Гоголь и черт», в которой доказывал, что, в сущности, тема черта была у Гоголя единственной на протяжении всего его творчества как явление «бессмертной пошлости людской». И действительно, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» перед писателем постоянно стоит проблема проникновения зла в наш мир, причем это зло персонафицированное. Сам Гоголь формулировал свою проблематику так: «Уж с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом». «Как черта выставить дураком» – это, по собственному признанию Гоголя, было главной мыслью всей его жизни и творчества. Смех Гоголя – борьба человека с чертом.

И смех такой, что вызывал страх. Рассказчику небывальщины из «Вечеров» не жаль поделиться своими историями с любопытными девушками, «да загляните-ка, что делается с ними в постели. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой». Да и парубок боится, послушав рассказ «про какое-нибудь чудное дело, от которых дрожь проходила по телу и волосы шевелились на голове... Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света». Так что же, целью «Вечеров» было нагнать на читателей мистического страха? Чем же тогда восхитилась самая «продвинутая» часть русской читающей публики? А восхищалась не тем, ЧТО написано, а тем, КАК написано. Написано же ТАК, что начнешь читать – и не оторвешься.

Теперь несколько мелких замечаний по поводу бесовщины в отдельных повестях «Вечеров» и их продолжения – «Миргорода». Уже в первой же вещи «Вечеров» – в «Сорочинской ярмарке» – едва ли не главным героем оказывается некая «красная свитка», за которой гонится черт с свиною личиною, и эти свиные рыла наводят ужас на персонажей. И уже тут Гоголь рисует одно из главных достоинств казака:

«... что там за парубок!.. А как сивуху *важно* дует... Черт меня возьми... если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварти, не поморщившись».

А следующая быль «Вечеров» – «Вечер накануне Ивана Купала» – вообще картина полного торжества бесовщины: Басаврюк – это воплощение дьявола – губит и несчастного Петра, и красавицу Пидорку, и ее малолетнего брата Ивася. Напрасно ходил священник по селу с святою водою и гонял черта кропилом по всем улицам, ничего он не добился.

Уже название повести «Майская ночь, или утопленница» говорит само за себя, но этого мало, в эпиграфе черт упоминается, и много действует там ведьм и разной прочей нечисти. Ну, естественно, и счастье героя повести казака Левко и его любимой девушки Гали (Ганны) устраивает... утопленница. Эта устроительница судеб «была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна!» Так открывается ряд прекрасных покойниц, с великой любовью описанных Гоголем.

На это обратил внимание, пожалуй, самый ярый критик Гоголя Василий Розанов. (Его я часто цитирую потому, что он четко изложил то, что другие авторы либо избегали затрагивать, либо старались высказать деликатнее.)

«Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках... Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник – нигде не «мертв», тогда как живые люди удивительно мертвы. Это – куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники... прекрасны, и индивидуально интересны...»

Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц, – и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких».

В «Пропавшей грамоте» дед рассказчика, посланный гетманом с посланием к царице, попадает в такой переплет, что ему приходится играть с ведьмами в дурни (в подкидного дурачка), и не выбраться бы ему из этого шабаша, если бы не догадался он тайно переkreстить свои карты.

Сначала эти странности произведений Гоголя объяснили влиянием украинского фольклора. В действительности тут проявился «черный» мистицизм Гоголя, характерный для польско-украинской традиции. Этот мистицизм был воспринят им с молоком матери, но оказался чуждым и складу русского ума, и традициям русской классической литературы. Гоголь же еще более усилил его в «Вие», хотя Ю. Н. Арабов в своем учебном пособии «Кинематограф и теория восприятия» (М.: ВГИК, 2003) нашел в этой повести и богословские, и эротические моменты, якобы не замеченные другими исследователями. А в «Страшной мести» Гоголь даже попытался подняться до изображения чуть ли не картины вселенской борьбы добра и зла. Ведь, по свидетельствам многих его современников, Гоголь считал себя не просто писателем. Он понимал свои творения как нечто лежащее вне его, где должны быть раскрыты тайны, ему заповеданные, ибо писатель – это пророк, видящий то, чего не видят другие.

Андрей Белый, восхищавшийся Гоголем, объясняет эти (и некоторые другие) черты его творчества особенностями его личности и происхождением. Вот несколько цитат из его книги «Мастерство Гоголя» (1934):

## «Личность Гоголя»

Гоголи – мелкопоместные дворяне недавнего происхождения. Дед Гоголя, Афанасий Демьянович, – семинарист, отказавшийся от духовной карьеры ради службы в войсковой канцелярии; он стал войсковым писарем; отец Гоголя «пробовал служить... при Малороссийском почтамте по делам сверх комплекта»; болезненный мечтатель, он писал стихи и устраивал, подобно Манилову, разные «долины спокойствия», был «большим мастером на малые дела»; «мать... Мария Ивановна, была дочь почтового чиновника Косяровского»... Родственник Гоголя, Трощинский, вышел в «министры» из казачков; какой-то протопоп, родственник Гоголей, тягался с Гоголями за доли наследства; была и польская кровь: Гоголь-Яновский.

Гоголь одел незнатность Гоголей в фикцию выдвигаемой родовитости; он с детства был уязвлен тем, что был «ниже» многих из сверстников; «ребенок был... странный... У него течет из ушей, тело... покрыто нарывами... Его отпаивают декоктами»; в Нежинской гимназии его встречает развал; сверстники, Редькин, Базили, Кукольник (будущие – ученый, дипломат, драматург), блещут в кружке для самообразования; Гоголь сперва держался вдали от кружка, как мало успевающий, мало подготовленный и как отталкивающий от себя «золотушными явлениями». «Таинственный карла» – прозвали его школьные товарищи в Нежине. «В старших классах он отдается театру и литературе».

Но страстный защитник гения Сергей Гупало, автор статьи «Высокая болезнь Николая Гоголя», объясняет отрыв будущего писателя от своих сверстников тем, что тот рано вступил

на путь христианского самоусовершенствования и потому, как это нередко бывает, казался им несколько чужаковатым.

Никому не дано определять степень, правильность и искренность веры другого человека. Но по поведению Гоголя можно предположить, что как грамоте его учил семинарист, так основы веры были заложены в нем мелкопоместной семейной средой, у которой вера в Бога был неразрывно связана с множеством суеверий. Поэтому он очень хорошо видел разного рода нечистую силу, с одной стороны, и ангелов – с другой, а обычная теплая, спокойная, радостная вера, отличающая настоящих христиан в повседневной жизни, была ему не свойственна.

К этому можно добавить описание некоторых странностей Гоголя у Владимира Набокова (который вообще-то считал: Гоголь – циник, лицемер, льстец, изворотливый лгун – и вместе с тем гениальный писатель):

«Гоголь... не был до конца реален. Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу, посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из «Алисы в Зазеркалье»...

Гоголь был странен во всем; но странность и есть основная черта гения. Только здоровую посредственность принимает благодарный читатель за мудрого старого друга, так славно излагающего и развивающего собственные, читательские, мысли о жизни. Великая литература всегда на краю иррационального...

У Гоголя иррациональное в самой основе искусства, и как только он пытается ограничить себя литературными правилами, обуздать логикой вдохновение, самые истоки этого вдохновения неизбежно мутятся. Когда же, как в «Шинели», он дает волю бредовой сущности своего гения, он становится одним из трех-четырех величайших русских беллетристов...

Любимицей Гоголя была муза абсурда, муза нелепости. Смешное – лишь один завиток нелепости, ибо в абсурдном столько же оттенков, сколько в трагическом: в него-то, на последнем пределе спектра, и переходит гоголевская призматическая нелепица».

Сергей Гупало объясняет негативную оценку личности Гоголя Набоковым тем, что биограф пользовался лишь доступными ему источниками, прежде всего книгой Викентия Вересаева «Гоголь в жизни», явно тенденциозной. Дескать, книга В.Вересаева издана в 1933 году. Разрешила бы советская цензура показать Николая Гоголя как человека глубоко верующего, защищающего крепостное право?! (Естественно, и как сторонника самодержавия. – МЛ.).

Андрей Белый показывает, что Гоголь не знал настоящего русского языка и **сотворил некий им самим созданный русский**: «Выезды к Трошинскому – окно в свет (со стороны), чтобы пережить грань, отделяющую его от общества; учил его в детстве семинарист; западная литература и позднее – предмет, не изученный Гоголем; позднее ему указывают на Мольера, Гете, Шиллера, Шекспира, романтиков; семинарская вычурность выражений, мещанские словечки и канцелярская высокопарность, – **элементы, из которых позднее вылепливает он свой русский язык**». (Неправильность русского языка в произведениях Гоголя бьет в глаза, ее отмечал и его друг Михаил Погодин, но добавлял при этом: «Писать ты сам никогда не будешь правильно. Тебе нужен стилист, который бы исправил безделицы, а язык твой и без правильности имеет такие достоинства высшие, которые заменяют ее с лихвою. Греч и Булгарин правильны, да что же толку!».) Действительно, стоит сравнить прозу Пушкина, Лермонтова или Тургенева с прозой Гоголя, чтобы понять, что он – писатель русскоязычный. Да Гоголь и сам признавал уже на склоне лет несопоставимость своих творений с прозой Пушкина (что в немалой степени, видимо, объяснялось и блестящим владением русским языком у Пушкина):

«...Сравнительно с «Капитанской дочкою» все наши романы и повести кажутся приторною размазною. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурною. В первый раз выступили истинно-русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкою, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все – не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде».

Но, сказав о не вполне русском языке Гоголя, Андрей Белый восхищается: «Что за слог!... Такова одна сторона гоголевской стилистики, перебиваемая подчас грубым (даже не грамматическим) оборотом речи или совершенно грубым, нелепым и даже пошлым приемом. Такие ничего не говорящие эпитеты, как «чудные», «роскошный», «очаровательный», пестрят слог Гоголя и сами по себе ничего не выражают; но в соединении с утонченнейшими сравнениями и метафорами придают особое обаяние слогу Гоголя. Как не помнить поразительной повести о капитане Копейкине; но потрудитесь взглянуть, в чем технический фокус этого приема: совершенно банальное изложение злоключений несчастного капитана перебивается буквально через два слова вставкой выражений «изволите ли видеть», «так сказать» и т. д.

Именно этим грубым приемом достигает Гоголь ослепительной выразительности. Слог Гоголя одновременно и до-культурный, и вместе с тем превосходит в своей утонченности не только Уайльда, Рембо, Сологуба и других «декадентов», но и Ницше подчас».

«Мелкий помещик и не взлетал в «свет», – продолжает Андрей Белый, – разве – трудом и упорством, не брезгающим средствами, достигал он служебных успехов; не делался и предпринимателем; чаще всего оседавая все ниже....

Гоголи, выйдя из низших сословий, были, так сказать, «мещанами во дворянстве» (не по быту, а по происхождению) среди помещичьей знати... да и сам «Никоша» Гоголь, притянувшийся к писарям и дьячкам в силу уз крови, как позднее притягивался к землякам в силу национального родства; великороссийский аристократ, «боярин» по крови, был наиболее чужд Гоголю; в кругу дьячков чувствовалась непринужденность; здесь можно было и «назиднуть», и блеснуть «светом»... в пику тем, кто утирает носы полою, изумить всех тем, что вынуть «опрятно сложенный белый платок... и, исправивши, что следует, складывать его снова... в двенадцатую долю и прятать».

Паныч поздней разругался с кружком, дернув в Питер, где град неудач заставил почувствовать бессилие своего выдвигенчества в «высшем свете», где, не владея образованием, языками, средствами, манерами, умением танцевать и свободно болтать с золотой молодежью, надо было скромно усестись в угол... «незадачник» читал свои первые опыты в кругу приживалок.

Личная обида сидела невынутою занозой; отсюда позднее самозащита при помощи оригинальничанья, потом докторальности, выросшей в гидру самомнения, в каприз «гения», с которым возились взапых представители того сословия, среди которого Гоголь некогда появился «гадким утенком»... «На балы... едете... позевать в руку», коли не умеешь пройти мазуркою, остается... «зевать в руку»; вспомните, с каким благодушием описывает Толстой танцы: мазурки Денисова, Николая Ростова, вальс князя Андрея с Наташей, Анну Каренину на балу; воздух бала был свойственен его сословию.

Гоголь же отзывается – на гопак... Гоголь обсмеивает салоны с «Индиями и Персиями» позолоченными; но и простые его отношения с родными «делаются все менее... искренними».

Особенно трудно складываются отношения с матерью. Владимир Набоков нашел этому такое объяснение:

«Он так ясно сознавал, какой у нее дурной литературный вкус, и так негодовал на то, что она преувеличивает его творческие возможности, что, став писателем, никогда не посвящал ее в свои литературные замыслы, хотя в прошлом и просил у нее сведений об украинских обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те годы, когда мужал его гений. В его письмах неприятно сквозило холодное презрение к ее умственным способностям, доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в угоду самодовольному, полурелигиозному укладу он постоянно подчеркивал свою сыновнюю преданность и покорность – во всяком случае, пока был молод, – облекая это в на редкость сентиментальные и высокопарные выражения». Вообще «читать переписку Гоголя – унылое занятие».

«Так – с одной стороны; а с другой – стоит вспомнить, как в самые страшные минуты жизни обращается он к матери с просьбой помолиться за него и верить в чудо молитвы, как в свою последнюю святыню и спасение, – чтобы почувствовать, чем для него была мать...»

Это добавление совсем не отменяет сказанного выше. Ведь не Гоголь молится о матери, а он просит мать в трудную минуту для него помолиться за него. Обычная ситуация для эгоистической личности, занятой исключительно собой и своим творчеством. Возможно, именно поэтому Виктор Ерофеев на основании переписки с матерью и высказал мнение, что Гоголь – идиот.

Еще несколько строк из книги Андрея Белого, касающихся личности Гоголя:

«Расщеп в Гоголе – во-первых: смешение кровей, впитанное с молоком матери; во-вторых: признаки поднимающейся борьбы классов; сквозь усилия «оморалить» мелкопоместную жизнь чувствуется тяга к мещанскому сословию и снюханность с бытом писцов и поповичей.

Позднее «великороссиянин» Гоголь с великоруссами и мудрил, и хитрил: едва отвечал на вопросы, засыпал или открыто зевал в восхищенно раскрытые на него рты Аксаковых; встретив же украинца, часами отдавался с ним «хохлацки-бурсацким» замашкам; позднее, став знаменитостью, европейцем, шокирует он манерами дурного тона представителя света, сетующего на Смирнову за то, что она покидает свой круг для выскочки Гоголя. Подчеркивают безвкусицу пестрых жилетов его, ярких галстуков, бледно-голубой фрак с золотыми пуговицами; и подстриженными висками, и хохолком, и претенциозностью производит он неприятное впечатление на С. Т. Аксакова: при первом знакомстве.

А чего стоит тон писем молодого Гоголя! Из письма к Жуковскому 1831 года: «О, с каким бы... восторгом потрянул власами головы моей прах сапогов Ваших... возлег бы у ног Вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст Ваших». Из письма к Дмитриеву (1832 г.): «Я вижу в Вас нашего патриарха поэзии... упрашивая не переменять драгоценного Вашего расположения ко мне»; в более своем кругу выражается он иначе; о Пушкине (про которого пишет Жуковскому: «Пушкин, как ангел святой»): «он протранжирует всю жизнь свою» (Данилевскому); о Крылове (Погодину): «этот блюдолиз... летает, как муха, по обедам». Чувства его изменны: «что значит не встретить отзыва» – пишет отзывчиво Погодину он; а бежит через несколько лет из его особняка: отвязаться от дружбы; заискивая у Белинского, конфузится общения с ним...

Между гопаком и «позой» искала равновесия измученная личность; но неравновесие было предопределено: неравновесием социальных условий, породивших Гоголя; гопакающий писарь себя защищал величием дворянина; а «дворянчик» лез в генералы наставлять «их высокопревосходительств»: «огромно, велико мое творение...»

Исследователи мало обращали внимания на удивительное сочетание в Гоголе неуклонного стремления к одной единственной цели – служению человечеству – и в то же время раздвоенности. Это подметил Дмитрий Мережковский:

«Жизнь и смерть Гоголя свидетельствуют о том, какая страшная искренность была в этой детской мечте его. И вот, однако, в это же самое время, среди глубокого обдумывания «нового бытия», уже стремясь в Петербург на великое служение, он пишет туда же о другой столь же пламенной и заветной мечте своей – о модном фраке и панталонах». Творец, всецело преданный своему писательскому поприщу, и прагматик (хотя и не вполне удачливый) странным образом сочетались в Гоголе.

## **Антирусская направленность «Вечеров» и «Петербургских повестей»**

И практически в то же время, когда он работал над «Вечерами», Гоголь в письме передает свои впечатления от Петербурга. Сразу по приезде в столицу она поразила его: всюду, кроме центра, грязь и нищета, а также бездуховность. (Вспоминается ехидное ерофеевское про Ленина: «Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье».) По словам Владимира Набокова, «двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования; безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной (с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы), вряд ли мог чувствовать себя счастливым... Пропущенный сквозь восприятие Гоголя, Петербург приобрел ту странность, которую приписывали ему почти столетие; он утратил ее, перестав быть столицей империи. Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте: тут-то и корень его странности – и его изначальный порок... болотные духи постоянно пытаются вернуть то, что им принадлежит... Но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь».

Петербург – это город, где «никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их». В том, что «в северной столице нашего обширного государства случается «необыкновенно странное происшествие», «виноват петербургский климат». В этом городе «охватывает одиночество», там «с площадей огонек «будки кажется на краю света», а ветер дует сразу с четырех сторон, и чиновнику вмиг надувает «жабу», так что он «весь распух и слег в постель». «Холодный, пахнувший ветер»; «лунное сияние на крышах»; «все... тихо»; лишь долетает «дребезжанье дрожек извозчика»; «деревянные дома, заборы; нигде ни души»; в пустыре стоит «будочник и, опершись на... алебарду», глядит на... мертвеца. Неудивительно, что такой город породил и ужас, и бред: гоголевских героев; потом – Гоголя-«Никоши».

Средоточие бреда – Санкт-Петербург, изображенный мороком. «Петербург разбил Гоголя; и он уцепился за иронию, как за средство самозащиты; доминирует же не смех, а страх: «Не верьте Невскому»; самый смех здесь – выражение ужаса», напоминающего ужас колдуна из «Страшной мести».

В самом начале творческого пути Гоголя заявлена эта тема, противопоставление прекрасной Украины, где кипит настоящая жизнь, и мрачной, холодной России, где прозябают чиновники, пьет горько мастеровой люд и творят бестолковые дела крестьяне – дяди Митяи и дяди Миняи.

Казачи называли себя дворянами, на иногородних и прочую мелюзгу смотрели свысока. Еще ниже стояли жид-шинкарь и жидовка-шинкарка. Уже упоминавшийся Данило

Бурульбаш сетует: «Жидовство угнетает бедный народ». Впрочем, подобных высказываний у героев Гоголя немало. Кинорежиссер Владимир Бортко объясняет это так:

«Так исторически сложилось. Антисемитизм был не только у казаков. Он был и в Польше, он был и у нас – он был везде. Дело в том, что евреи были вообще лишены возможности заниматься чем-либо, кроме ростовщичества – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это было бедой народа, а не какой-то национальной особенностью. Казачество же было, мягко говоря, не склонно заниматься экономической деятельностью. Все это не замедлило сказаться на отношениях казаков с евреями».

Но еще ниже еврея стояли москаля, то есть русские, великороссы: Веселые украинские хуторяне-балагуры не врали, а «москаля везли», а если и подчас и ругались, то только выкрикивая «сучый москаль!». «Когда черт да москаль украдут что-нибудь – то поминай, как и звали». Москалей еще называли и кацапами (похожими на козла: «как цап»). И украинский помещик Григорий Сторченко уверял Ивана Шпоньку: «Проклятые кацапы... едят даже щи с тараканами». Долго потом ездил Гоголь с Чичиковым по Руси, но так и не нашел столь же восхитительных картин природы, как на Украине, а тем более – симпатичных русских людей. Грязь в деревнях, грязь на помещичьем дворе, по которой щеголяет вся дворянка Плюшкина в единственной на всех паре сапог, непролазная грязь на дорогах... Тогда как в Миргороде и лужа на центральной площади – это не грязь, а что-то вроде местной достопримечательности, своего рода визитная карточка, приглашение: «Милости просим в наш славный город!»

Та же тема получила развитие и в «Петербургских повестях» Гоголя.

В «Невском проспекте» эта улица рисуется как «единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург... Это единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга», не то, что в Диканьке. Между тем в других произведениях Гоголя говорится, что жизнь в Петербурге приятна тем, что там можно пойти в театр, его регулярно посещают и Хлестаков, и Поприщин. И даже слуга Хлестакова Осип понимает, что жизнь в Питере «тонкая и политичная». Он тоже имеет представление о «кеатре», как и о заведениях, где «собаки тебе танцуют». Даже на Невском проспекте в известные часы «неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями...». Вероятно, разговоры обитателей Диканьки по сравнению с этим – верх политеса, образцы которого – едва ли не на каждой странице «Вечеров»:

«Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!»

«Что за черт! Куда вы мечетесь как угорелые?»

И это не считая непечатных выражений, о которых можно судить хотя бы по легендарному письму запорожцев турецкому султану.

Петербург настолько мрачен, что даже само существование в нем художников кажется каким-то парадоксом: «Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, бледно, серо, туманно». А ведь в Петербурге не только живут художники, но и работает Академия художеств, награждающая лучших своих выпускников продолжительными поездками в Италию (как хотя бы будущего приятеля Гоголя Александра Иванова). И многие соотечественники Гоголя учились в этой Академии, преподавали в ней и, как правило, оставались жить в мрачном Петербурге, а отчего-то не спешили возвращаться на свою солнечную, цветущую родину. Объективности ради замечу, что на большинстве территории Украины зимой бывают и снежные бури, и морозы стоят приличные. Недаром казак Чуб, войдя в хату к Солохе, просит: «дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза...»

Мрачен Петербург и потому, что там кварталный запросто «увещевает по зубам глупого мужика, наехавшего со своею телегою как раз на бульвар». А ни в чем не повинный в приключении с носом майора Ковалева «мошенник цирюльник на Вознесенской улице сидит теперь на съезжей», ибо кварталный «давно подозревал его в пьянстве и воровстве...». Зато превосходно чувствует себя в столице поручик Пирогов. (Этот Хлестаков, уже выпоротый немецкими ремесленниками, но еще не выехавший в имение отца в Саратовской губернии и потому не попавший в славный город, где владычествует Антон Сквозник-Дмухановский.)

Предоставляю читателям оценить всю глубину оценки творчества Гоголя Юрием Кирпичевым («ЛР», № 29. 24.07.2009):

«Увы, пик Гоголя не достиг ожидаемой высоты, оборвал свой рост и перешел в плато морализаторства, ставшее, впрочем, фундаментом золотого века больших писателей – и имперской идеологии. Разумеется, не он заразил россиян их болезненным чувством величия: великий народ, великая страна, великая литература. Но, **кажется, именно он первым и громко заговорил об особом величии русского народа, о необыкновенной широте его души, о превосходстве над всеми иными народами, что не только дает ему право, но и возлагает на него прямую обязанность править миром Божьим предначертанием.** Через сто лет подобную идею доведет до логического конца Гитлер и всем крепко перепадет, но он был плохим писателем и его юбилей мало кто отмечает...

Величие – это хорошо! Pax Romana, Третий Рим, Deutschland über alles, American dream, Москва для москвичей. Но если только и говорят, что о величии, стоит принюхаться – запахнет казармой и портянками! Человек – да, он может быть велик, как бы ни смеялся Лукулл над Помпеем Магном, но великие люди обычно обходятся дорого своему народу. И все же нынешняя ситуация, когда их нет и даже нет в них необходимости, когда народ прекрасно без них обходится, но только и думает, что о своем величии, симптоматична». (Выделено мной. – МЛ.)

Нужно обладать весьма специфическим мировосприятием, чтобы Гоголя, всегда прибивавшего русского человека и русское государство, представить основоположником российской имперской идеологии (и даже, с другой стороны, предшественником Гитлера!). Впрочем, это не удивительно, если для Ю.Кирпичева великая русская литература обозначена тремя вершинами: «Словом о полку Игореве» (подлинность которого, несмотря на сотни доказательств, для многих остается сомнительной), Михаилом Булгаковым (все величие которого – в показе ничтожества советского человека) и Веничкой Ерофеевым (вряд ли нуждающимся в характеристике). И очень удачно выбрал он время, чтобы насмеяться над идеалами величия: именно сейчас, когда душа русского народа, как никогда, жаждет образа героя – настолько, что за неимением такового в жизни готова принять за него какого-нибудь ловкого криминального авторитета типа Япончика (Иванькова).

Русские писатели потеснились и сразу же отвели новичку почетное место в первом своем ряду. А Пушкин даже подарил ему сюжеты двух главных произведений. Белинский же еще при жизни Пушкина назвал Гоголя главой русской литературы. Думаю, это один из частых в жизни великого критика перехлестов: Гоголь стал не столько главой, сколько поприщинским королем, «Фердинандом VIII русской литературы».

«Гоголь в 1828 году понесся из Нежина, как в некую «Индию раззолоченную», – в Петербург; и так же в 1836 году, из Петербурга, едва живой, – вынесся: «я устал и душою, и телом... Никто не знает моих страданий... Я хотел бы убежать... Пароход, море и другие, далекие небеса – могут одни освежить меня»; «забросило русскую столицу на край света»; «воздух подернут туманом; на... серо-зеленой земле обгорелые пни...»; «хорошо... что... поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо»; так написавши, едва живой, выносятся... за границу.

Игорь Золотусский заметил, что Гоголь превратил «Мертвые души» (о них ниже будет сказано подробнее) в своеобразный суд над всемирной историей. Впрочем, и сам автор поэмы не скрывал этой своей задушевной мысли уже и от читателей первого тома: «Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги». Но смеялись предыдущие поколения над этим прямым, зато «узким» путем и валили по «широкой» дороге к гибели (здесь слова «узкий» и «широкий» берутся в том значении, в каком они употреблены в Евангелии – Мф 7:13—14). Так и не извлекло человечество надлежащих уроков из этого трагического заблуждения, и «смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки».

Гоголь полагал, что он и был призван поучать Россию и человечество, как, еще будучи гимназистом, поучал в письмах родную мать. И в Петербург он явился максималистом, с уже сложившимися убеждениями и с явным намерением **изменить жизнь мира**, где так много «в человеке бесчеловечья!».

России Гоголь не знал, что станет ему ясно позднее и о чем он сам с горечью писал на склоне дней, русского человека не понимал и все время пытался навязать ему свои, выведенные с Украины и чуждые русским, духовно-нравственные и общественно-политические идеалы. Идеал (к сожалению, в прошлом) – это жизнь казаков Запорожской Сечи. Отражение того идеала в настоящем – это вечера близ Диканьки. Идеал будущего – может, через двести лет и появится русский человек в полном его развитии (примером которого он считал Пушкина), а пока... (Выработал он и еще один идеал – христианина, отшельника в миру, но об этом чуть позже.) Современная Гоголю русская жизнь казалась ему пошлой и унылой, ибо «дрянь и тряпка стал теперь всяк человек». Между тем Россия была страной, переживавшей «золотой век» своей культуры, быстро наращивавшей экономическую мощь. Вдобавок, она еще была «жандармом Европы» или, лучше сказать, гарантом стабильности на континенте. Бывало, иные европейские государи ездили в Петербург едва ли не так же, как русские князья ездили в Орду за ярлыком на княжение. «Россия – государство военное, и ее назначение – быть грозой свету», – говаривал Николай I (тут он, правда, несколько промахнулся).

Составить панораму жизни такой пошлой России не смог бы, видимо, ни один русский писатель. Тут требовался именно русскоязычный «инородец».

«...Гоголю предстояло высмеять Русь, то есть выполнить задачу, непосильную человеку исконно русскому. Наверное, по той же причине, и величальную песню, когда для этого наступит час, предстоит сложить поэту-«инородцу». Это – райская задача. А Гоголь был обречен нести адскую ношу – смеяться над родиной», – пишет Камиль Тангалычев в статье «Кто-то незримый пишет передо мною» («ЛР», № 12, 2009)...

И далее (прошу извинения за обширную цитату): «Жуковскому Гоголь писал из Парижа: «Вся Русь явится в нем (в тексте «Мертвых душ». – К. Т.). Это будет первая моя порядочная вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро в прибавление к завтраку вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день...» Но в том же письме написано: «И мне сделалось страшно скучно. Меня не веселили мои «Мертвые души»...

Без смеха Гоголя не могла обходиться история России... Гоголь намеревался поехать в солнечную Италию, где, наверное, было бы удобнее вздохнуть над Россией, но «в Италии бушевала холера...».

Кто же его, столь угрюмого от природы, так настойчиво смешил, кто щекотал до полусмерти? Не вселенский ли леший заигрывал с ним? Заигрывал – заставляя смеяться над великой родиной? Не от лукавого ли получал Гоголь вдохновение? Ведь когда заканчивалось наваждение смеха, когда наступало озарение, когда ничьи длинные игривые пальцы не каса-

лись его души, Гоголю становилось плохо, обострялись все его болезни, перед его взором возникала беспросветность, и он вновь и вновь начинал искать спасения в Боге, цепляться за незримую соломинку молитвы, скрываться от лукавого преследования в церкви, искать общения со старцами. Однако ничто не могло его спасти. И молитвой противореча своей сущности и призыванию, Гоголь мог достигнуть только юродства.

Сущность брала свое. И Гоголь, тщательно скрываясь от посторонних глаз, будто бы возвращался к мучительному списыванию текстов с незримых демонических свитков. «Мертвых душ» не быть не могло, как не могло не быть заготовленного в тайниках стихий урагана, горного обвала, извержения горящей лавы.

В то же время Гоголь признавался: «Прямо скажу: все мои последние сочинения – история моей собственной души. Я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался изобразить его себе в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся».

Уж не падшего ли ангела, превратившегося в птицу и питавшегося мертвыми душами, преследовал в себе Гоголь?

Пушкин четко улавливал все движения в стихии, которая обрела смысл бытия в метафоре, предчувствовал неизбежность горного обвала, вызванного неизбежным громким смехом. Видимо, счел нужным упреждать и контролировать. Именно Пушкин, осознав, что из себя представляет Гоголь, отдал ему собственный сюжет, «из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому».

Пушкин, должно быть, говорил правду. Он понимал, чего от него самого требовала история, но чего он не в силах был осуществить столь хладнокровно, оставаясь тем единственным Пушкиным. Да и Гоголь понимал, на что он идет перед лицом вечности: «Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ. Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом...» Пушкин хотел написать поэму, ничего другого не оставалось сделать и Гоголю.

Видел и Пушкин это вещее письмо перед собою, видел завершенность «Мертвых душ» в истории, видел вознесение этого пласта в горную мастерскую. Но эта огромная глыба отечественных пороков, которой суждено сорваться с небесной горы и вызвать вековечный обвал, могла задавить самого Пушкина, изуродовать его памятник. И только Гоголь – единственная птица, прилетевшая в русскую литературу, – мог добраться до этой глыбы, скатить ее по склону, оставшись при этом невредимым.

Пушкин, давая простор Гоголю, изгонял из своей души тень, чтобы навеки остаться прозрачным поэтом. И об этом ему было необходимо самому позаботиться на земле.

Каторжный труд сулила Гоголю судьба – насмехаться над людьми, над Россией. Гоголь был обречен на это. Откровенно одно из писем, написанное в июле 1845 года: «Вы коснулись «Мертвых душ» и говорите, что исполнились сожалением к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мертвых душ». Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями так же, как были прежде несправедливы, хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех... раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою... Была у меня, точно, гордость, но не моим настоящим, не теми свойствами, которыми владел я, гордость будущим шевелилась в груди, – тем, что представлялось мне впереди, – счастливым открытием, что можно быть далеко лучше того, чем есть человек»...

Лучше того, «чем есть человек», может быть только птица, о чем Гоголь не мог не помнить с перворождения. Потому и мучительно пытался свить своей душе на земле то единственно достойное гнездо, которое помнилось ему с незапамятных времен. И «он так писал, – вспоминает граф Сологуб, – и был всегда недоволен, потому что ожидал от себя чего-то необыкновенного. Я видел, как этот бойкий, светлый ум постепенно туманился в порывах к недостижимой цели».

Далее у Тангалычева идут рассуждения о демоническом и райском текстах «Мертвых душ», что, на мой взгляд, ближе не к литературоведению, а к богословию, причем не христианскому, а потому остальную часть его статьи я опущу, приведу лишь ее окончание:

«Мертвые души» – можно сказать, самый адский труд Гоголя. За оставшийся первый том поэмы он на земле же испытал муки ада; а там, в вечном мире, он за сожжение второго тома, возможно, получил освобождение...

**Гоголь появился на Руси, чтобы смеяться над ней, высмеять ее перед всем миром.** И, наверно, заботясь о покое для своей души, Гоголь в завещании просит Россию не ставить памятника над его могилой, заверяет, что он сжег все свои бумаги. «Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа...»

Просьба Гоголя вряд ли достигла вышины. Вышина внимала его уже незабвенной поэзии...» (Выделено мною. – М.А.)

Естественно, при таком состоянии общества поэт-пророк и мог только воскликнуть: «Скучно на этом свете, господа!» Он обязан был вооружить заблудшее человечество идеалом героя.

Любил ли Гоголь Россию? Безусловно, он об этом говорил и писал многократно (хотя и приврать, и польстить он был мастер). Но в основном Гоголь с Россией мирился лишь «из прекрасного далека»; его приезды в Россию кончались недоумением: «Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр, все это снилось». (Из письма 1837 года.) В 1840 году он пишет из Москвы: «Какой тяжелый сон... О, мой Рим!»; «как тягостно мое существование в моем отечестве» – пишет он Максимовичу в 1842 году и – к Балабиной (того же года): «с того времени, как... ступила моя нога в родную землю... как будто очутился я на чужбине»; «Исповедь» полна недоумений: в России Россию нельзя понять: у каждого в голове своя Россия; в России не говорят о России, не знают России, не хотят России». Словом, Гоголь любил выдуманную им Россию, «исправленную» в соответствии с его казачьим идеалом, а не подлинную Россию, которой он не знал, а по мере того, как узнавал ее, ужасался.

Как писал Василий Розанов в своей книге «Легенда о великом инквизиторе», «Гоголь был великий платоник, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как об Афинах времен Платона судить по отзывам Платона... **в портретах своих, конечно, он не изображает действительность**, но схемы породы человеческой он изваял вековечно; грани, к которым вечно приближается или от которых удаляется человек... **Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души только увидал он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих произведениях**, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запомниться никакие живые образы. Рассмотрите ряд лучших портретов с людей, действительных в жизни, одетых плотью и кровью, – и вы редкий из них запомните; взгляните на очень хорошую карикатуру, – и еще много времени спустя, даже проснувшись ночью, вы вспомните ее и рассмеетесь. В первых есть смешение черт различных, и добрых и злых наклонностей, и, пересекаясь друг с другом, они взаимно смягчают одна другую, – ничего яркого и резкого не поражает вас в них; в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает только

ее – и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела. Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь. И здесь лежит объяснение всей его личности и судьбы. Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех.

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» можно, в сущности, найти все данные для определения внутреннего процесса его творчества... «Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться... Тебе объяснится также и то, почему я не выставлял до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь.

Пока не станешь сам сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое». Здесь довольно ясно выражен субъективный способ создания всех образов его произведений: они суть выдавленные наружу качества своей души, о срисовке их с чего-либо внешнего даже и не упоминается. Так же определяется и самый процесс создания: берется единичный недостаток, сущность которого хорошо известна из субъективной жизни, и на него пишется иллюстрация или иллюстрация «с моралью». Ясно, что уже каждая черта этого образа отражает в себе по-своему этот только недостаток, ибо иной цели рисуемый образ и не имеет. Это и есть сущность карикатуры...

Он (Гоголь) был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений. О нем, друге Пушкина, современнике Грановского и Белинского, о члене славянофильского кружка в лучшую, самую чистую пору его существования, рассказывают, что «он не мог найти положительного образа для своих созданий»; и мы сами слышим у него жгучие, слишком «зримые» слезы по чем-то неосуществимом, по каком-то будто бы «идеале». Не ошибка ли тут в слове и, подставив нужное, не разгадаем ли мы всей его тайны? Не идеала не мог он найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности, – чудовищные фантазмагии оказались в его произведениях, противоестественная Улинька и какой-то грек Костанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность. И он сгорел в бессильной жажде прикоснуться к человеческой душе...

Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души. И он сказал нам, что этой души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что мы в самом деле на несколько десятилетий поверили, что было целое поколение ходячих мертвецов, – и мы возненавидели это поколение, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах сказать человек только о бездушных существах. Но он, виновник этого обмана, понес кару, которая для нас еще в будущем. Он умер жертвою недостатка своей природы, – и образ аскета, жгущего свои сочинения, есть последний, который оставил он от всей странной, столь необыкновенной своей жизни. «Мне отмщение и Аз воздам» – как будто слышатся эти слова из-за треска камина, в который гениальный безумец бросает свою гениальную и преступную клевету на человеческую природу». (Выделено мной. – *МЛ.*)

По мысли Розанова, все последующее развитие русской литературы второй половины XIX – начала XX века было отталкиванием от мертвечины Гоголя, преодолением его мертвящего взгляда на жизнь.

«Что не сознается людьми, то иногда чувствуется ими с тем большею силою. Вся литература наша после Гоголя обратилась к проникновению в человеческое существо; и не отсюда ли, из этой силы противодействия, вытекло то, что ни в какое время и ни у какого народа все тайники человеческой души не были так глубоко вскрыты, как это совершилось

в последние десятилетия у всех нас на глазах? Нет ничего поразительнее той перемены, которую испытываешь, переходя от Гоголя к какому-нибудь из новых писателей: как будто от кладбища мертвецов переходишь в цветущий сад, где все полно звуков и красок, сияния солнца и жизни природы. Мы впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди и, следовательно, братья нам».

Но, страшась увиденной им России, Гоголь при этом призывал и себя, и читателей не пугаться, не унывать по поводу «страхов и ужасов России», а верить в ее славное будущее, едва ли не предсказанное ему свыше. Пока он был здоров, он умел тонко польстить нужному ему человеку. Возможно, льстил он подчас и целой России. Но вот почувствовал он приближение смерти... Уж не попытался ли Гоголь представить неопровержимое доказательство его любви к России, совершив мужественный акт, когда он сжег второй том «Мертвых душ»? (Может быть, он не желал, чтобы Россию отождествляли с выведенными им уродами, и тем самым он давал бы поводы русофобам всех мастей порочить нашу страну.) А еще раньше призывал публику не читать и первый том, от которого сам отрекся.

Сам Гоголь не раз говорил, что не знает, какая у него душа – русская или хохлацкая. Но это и не казалось ему важным, ибо русские и украинцы – два народа, которые дополняют друг друга и созданы, чтобы жить вместе. Только вместе они могут явить «нечто совершеннейшее в человечестве». При этом **Гоголь никогда не отрекался от того, что он украинец.** (А Пыпин в «Истории русской литературы» добавил: «Гоголь был малороссом до мозга костей...».)

Но не следует думать, что Гоголь был украинским националистом. Живи он в наши дни, он гневно осудил бы политиков вроде Ющенко или Тимошенко, а тем более националистов-западнцев. Гоголь не мыслил «незалежной» Украины, оторванной от России. Провинция, отделенная от столицы, показалась бы ему совершеннейшей глухоманью. Нет, он мечтал о присоединении «оказаченной» России к матери-Украине, то есть он был, скорее, украинским экспансионистом. Когда-то Сталин высмеивал западных политиков, предлагавших присоединить Советскую Украину к Закарпатской Украине (тогда еще не входившей в состав СССР). По его словам, эти «геополитики» мечтают о присоединении слона (обширной Советской Украины) к букашке (крохотной Закарпатской Украине). Гоголь тоже мечтал о воссоединении Великороссии – ядра величайшего государства того времени – Российской империи – не просто с гораздо меньшим территориальным образованием, а с давно уже не существующим, вымершим, оставшимся только в истории да в казацких песнях. Вот и получила бы Новая Запорожская Сечь размером в одну шестую часть земной суши. Неприятие украинского сепаратизма определило и отношение Гоголя к Тарасу Шевченко: «Дегтю много, и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Нам надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Я знаю и люблю Шевченко, как земляка и даровитого художника. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту».

«В начале своей литературной деятельности, – заступает за гения Сергей Гупало, – Николай Гоголь очень увлекался Украиной, но вскоре охладел к ней как художник. В 1833 году о своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки» он говорил: «Черт с ними! Я не издаю их вторым изданием; и хотя денежные приобретения были бы нелишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекулятивными оборотами». В то же время он жил надеждой написать многотомную историю Малороссии. Это свело его с профессором Михаилом Максимовичем, который готовил к печати «Украинские народные песни». Их дружба была очень крепкой, вдвоем они собирались ехать в Киев, где открылся университет. «В Киев, в древний, прекрасный Киев! Он **наш**, но не их (то есть не

русских. – М.А.), – не правда? Там или вокруг него деялись дела страны нашей. Да, это славно будет, если мы зайдем с тобою киевские кафедры: много можно будет наделать добра», – писал Николай Гоголь своему земляку. Но Николаю Васильевичу предложили в Киевском университете лишь должность адъюнкта, и он отказался от поездки.

В 1834 году писатель еще мечтал купить в Киеве, где-то на возвышенности, домик с видом на Днепр. Летом 1835 года он побывал в Киеве, когда ехал в Москву из Крыма, остановился у Михаила Максимовича. Это была фатальная поездка на родную землю. Уже через два года писатель начнет отождествлять Украину с Россией, а родиной души, «где его душа жила, пока он не родился на свет», назовет Рим. (Ясно, что не Москву или Петербург. – М.А.). Вернувшись из Италии, Николай Гоголь поедет в Москву, а не на Полтавщину. В 1844 году писатель скажет: «...Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская...»

Во время работы над вторым томом «Мертвых душ» у Гоголя исчезло бывшее восхищение казацкой Малороссией, а понятие родины приобрело иной смысл. Только незадолго до смерти писатель начнет посещать родную Васильевку (Кстати сказать, родных своих он сторонился, чем немало их огорчал. – М.А.) Осенью 1851 года писатель навсегда покидает Сорочинцы и Васильевку и снова приезжает в Москву... Свои повести, в которых описана Украина, Николай Гоголь называл слабенькими, это были для него лишь упражнения, он их не ценил и даже отказывался от них».

Да, это тоже трагедия: любовь к Украине стала менее пламенной, ибо провинциализм ее бил в глаза писателю, прожившему и в Петербурге, и в Москве, и в десятке стран Западной Европы. Но и Россия так и не стала для него второй Родиной, в Москву он ехал, чтобы или завершить второй и третий тома «Мертвых душ», или окончить свою жизнь. А благословенная Италия, в особенности «вечный Рим», оставались уже недоступными. В России он так и остался русскоязычным писателем.

Поэтому я не во всем согласен с теми, кто утверждает, что Гоголь осмысленно принажил русского человека, противопоставляя ему героя – запорожского казака. Восприятие Гоголем русских было естественным для человека его происхождения и воспитания, особенной религиозной экзальтации и пр. Какой Гоголь видел Россию и русских через призму своего застопорившегося на казачестве сознания, таким он их и описывал. Поэтому следует проанализировать, что такое казачество – в представлении Гоголя и на самом деле. А пока краткий вывод о взаимоотношениях Украины и России (которые для нас важнее, чем отношения с любой другой страной мира).

**То, что всестороннее сотрудничество русских и украинцев крайне желательно, у меня не вызывает сомнений. Но то, что это два народа-брата «не разлей вода», как раз крайне сомнительно вследствие громадной разницы в их менталитетах и геополитических устремлениях. Россия сдвигается к Азиатско-Тихоокеанскому региону – будущему центру мировой деловой активности, Украина, в соответствии с ее давними стремлениями, рвется в умирающую Европу. И не так уж невероятна мысль о возможном серьезном конфликте между Украиной и Россией. Будущее покажет, какой из этих народов устремлен в будущее, а какой – в прошлое.**

## **За какую Русь и за какую веру боролись и умирали казаки**

Доказательством русского патриотизма Гоголя принято считать повесть «Тарас Бульба» (по мнению Александра Привалова, самое устаревшее из произведений писателя). В ней, принятой с восторгом едва ли не всеми как произведение героическое и патриотическое, Гоголь выразил свой идеал: это – запорожские казаки (сам Гоголь писал: «козаки»). Повесть многократно экранизировалась на Западе, а недавно по ней был снят фильм и у нас, получивший немало как восторженных, так и отрицательных отзывов.

Горячий прием повести именно русскими основан на полнейшем недоразумении. Да, сердцевиной будущей украинской нации стало казачество. Сердцевиной духовной, а не этнической. Ведь казачество – это сборище лиц разных этносов, в Запорожской Сечи встречались не только малороссы, но и великороссы, и поляки, и татары-разбойники, и армяне, и лица совсем уж экзотических для этих мест этносов – венгры, потомки черных клобуков и даже турки. Часто это были разоренные беглецы, преступники, авантюристы. Значительная часть сечевиков в этническом отношении не имела ничего общего с малороссами, тогда преимущественно крестьянами.

Итак, кто же такой казак в первоначальном значении этого слова? Слово «казах» «означает в тюркских языках вольного наездника...» (*Мавродин В.В.* Происхождение русского народа. Л., 1978. С. 149). Конкретнее, это – человек (чаще конный), добывающий свое пропитание оружием. О том, как казак даже в XIX веке относился к людям других этносов, в том числе и к русским, можно прочесть в повести Льва Толстого, которая так и называется «Кзаки». А ведь в ней речь шла уже о совсем других казаках, служивых людях. Но Запорожская Сечь была принципиально антигосударственным образованием. Эта единственная в своем роде казацкая республика, находясь между Россией, Польшей, Крымским ханством и Турцией, воевала то с одним, то с другим своим соседом и жила тем, что добывала во время набегов на соседей (регулярной хозяйственной деятельности она не вела и в принципе не могла вести).

Вот как сам Гоголь описывал возникновение казачества и обусловленный этим характер казаков:

«Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набегамы монгольских хищников; когда лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объявился древле-мирный славянский дух, и завелось казачество – широкая, разгульная замашка русской природы... Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей, возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от сих неукротимых стремлений, грозивших ее опрокинуть... Кончился поход, – воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак... Не было ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, **гулять напропало, пить и бражничать, как только может один русский**, – все это было ему по плечу». А кроме рейстровых казаков, «считавших обязанностью являться во время войны», можно было набрать добровольцев, кликнув по рынкам и площадям сел клич: «Ступайте славы и чести рыцарской добиваться!.. Пора доставать казацкой славы!» (Выделено мной. – *МЛ.*)

Гоголь, восхищавшийся казачеством, все же вынужден был описать крайнюю жестокость, даже зверства казаков, которые не просто убивали свои жертвы, а и вырезали младенцев из чрева матерей. Жестокость в людях часто соединяется с сентиментальностью, которой окрашены, например, многие казацкие песни.

Еще один важный штрих к характеристике Тараса Бульбы: «Тогда влияние Польши начинало уже сказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было

это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия» Его «враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае поднять оружие во славу христианства». Он желал посмотреть на первые подвиги своих сыновей «в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря». Сам он говорил о «чести лыцарской».

И вот общая картина Сечи:

«Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти непрерывны... все прочее время отдавалось гульбе – признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. **Это было какое-то непрерывное пиршество...**»

Но пиршествовать можно было только до тех пор, пока были деньги. Значит, за пиршеством должен был наступать военный поход за добычей. И те, кто возвращались из похода живыми, могли снова пировать. А на место тех, кто погиб, из похода не вернулся, приходили новые любители такой разгульной жизни, не обремененной производительным трудом и житейскими заботами. Казачество было особым образом жизни, совершенно не схожим с оседлым хлеборобским бытием малороссов. Вот таким был «жизненный цикл» казачества: пир, грабеж, снова пир и т. д. Редко кто из сечевиков доживал до старости. Но, как отмечал один критик, «как это ни парадоксально в контексте грабительско-паразитического образа жизни, однако до официального присоединения к России, которому оно способствовало как никто, казачество не только считало себя, но и действительно являлось... мужественнейшими защитниками православной веры и культуры на Украине. Особенно во время польского владычества... А что уж говорить об отношении к крымскому ханству и туркам! Походы против них считались делом в прямом смысле святым».

Казак, столь романтично представленный Гоголем, а уж тем более – реальный, как идеал русским совсем не подходил. Гоголь, живописуя это сообщество анархистов, сам замечает, что оно умело «только гулять да палить из ружей». Для казаков «все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы». Если же ее нет, можно отвести душу в ссоре и драке куреней с куренями. В общем, казаки вели себя совершенно так же, как и западноевропейские благородные рыцари, искавшие себе чести и славы, или как викинги (варяги), промышлявшие разбоем и предававшиеся потом гульбе. И Гоголь воспел «то поэтическое время, когда все добывалось саблейю». Кинорежиссер Владимир Бортко, поставивший фильм «Тарас Бульба», видел аналогию казака в японском самурае:

«Важно понять психологию казаков того времени. Для них не было другого смысла жизни, кроме войны с врагом... «путь воина – это путь к смерти» – закон самураев. **И у казаков та же философия. Мечта любого из них – прославиться, умереть героем, чтобы потом о нем бандуристы пели на весь мир.** Тогда царил абсолютно другое мышление, непонятное в наше гуманистическое время». Это не была война за Родину, как Великая Отечественная война: «Нет, Великая Отечественная война предполагала защиту Родины, а потом мирную жизнь. А казаки, пока могли сидеть в седле, воевали. Вы пытаетесь найти в этом рациональное зерно, а оно в другом. Это не рационализм нашего современника, для которого мир лучше войны, а жизнь дома с женой лучше военных лишений. Тарас говорит сыну: «Не слухай жинку, бо вона баба». И это не шутка, а жизненная позиция. Ты самурай! И с ляхами та же история. Польский пан, который пропил все имение, деньги, челядь, перед сражением одалживал злотые. Почему? А потому, что если его убьют, то противник возьмет

деньги как законную добычу. Чтобы потом не считал, что бился с холопом, быдлом» («Комсомольская правда», 26.03.2009).

Казачи, как принято считать и как были уверены сами, защищали православную веру и готовы были умереть за нее, но их «символ веры» был прост: «Веровать во Христа и в Святую Троицу, ходить в церковь».

Вот как сам Гоголь описывал порядок приема новичков в Сечь:

«Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил: «Здравствуй! Что, во Христа веруешь?» «Верую!» отвечал приходивший. «И в Троицу Святую веруешь?» «Верую!» «И в церковь ходишь?» «Хожу!» «А ну, перекрестись!» Пришедший крестился. «Ну, хорошо», отвечал кошевой: «ступай же, в который сам знаешь, курень». Этим заканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании».

Вот и все, остальное нужно было доказывать в боях. Можно ли ожидать иного от этих вечных воинов, если и православие украинцев вообще, например, священник и богослов Георгий Флоровский считал в значительной мере «окатоличенным». Во времена моего детства мальчишки нашего двора часто играли в «казаков-разбойников». Видно, название этой игры укоренилось не случайно. Видеть в «казаках-разбойниках» из повести Гоголя, когда они разделились на два отряда, чтобы и не оставлять осады вражеского польского города, и вызволить «однополчан», попавших в плен к иноземцам, исполнителей евангельской заповеди «положить душу своя за друзей своих», можно только при пылком воображении.

Интересно, что Тарас, выражая общую волю казаков, призывал выпить за то, **чтобы по всему свету разошлась и была бы одна святая православная вера, «и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами!»**. Вот такие были они крестоносцы или суперэкуменисты на основе их «казацкого православия»! Предчувствуя скорую свою гибель, казаки думали о том, что не пропадет казацкая слава, будет петь о них старик-бандурист, «и пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них».

«Бульбу» «проходят» в школе, поэтому повесть издается в усеченном виде, и редко кто перечитывал ее полный текст, будучи уже взрослым. Щадят издатели чувства читателей, опускают сцены чудовищной жестокости, проявляемой казаками.

Порой казаки устраивали погромы, швыряя еврейских торговцев в волны Днепра. А как расправлялись они с поляками (так сказать, на взаимной основе)! Сжигали деревни, угоняли или убивали скот, отрезали груди у женщин, кидали в пламя матерей вместе с младенцами. Не случайно, – говорит кинорежиссер Федор Бондарчук, – при попытках экранизации повести всякий раз «смягчают» жесткий гоголевский сюжет, экранизировать повесть «в чистом виде» никто не решается, и серьезное ее кинопрочтение еще впереди.

Но повесть написана так, что завораживает. Вряд ли был в России, на Украине и в Белоруссии хоть один юноша, который, читая «Тараса Бульбу», не переживал бы за таких казаков, как Кукубенко:

«Казачи, казаки! Не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось из всего Незамайновского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, видя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели казаки: уже успело ему углубиться под сердце копьё прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его казакам. И хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погребя неосторожные слуги, подскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы, если приведет Бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек... Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил:

«Благодарю Бога, что довелось мне умереть на глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня!» скажет ему Христос: «ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал Мою Церковь»...

Описание Сечи у Гоголя слишком романтическое. Но есть и более трезвые исследования этого феномена. (Наверное, самое свежее из них – вышедшая в 2008 году в издательстве «Алгоритм» книга Александра Андреева, Максима Андреева и Антона Мастерова «Запорожская Сечь».) Сечь была передвижной (менявшей местоположение в зависимости от складывающейся обстановки) столицей некоей орды. Эта орда не была ни государством, ни рыцарским орденом, а сообществом любителей легкой, но и опасной жизни воинов-грабителей. При относительном демократизме среди казаков было имущественное неравенство. Например, кошевой атаман Сирко имел табун лошадей в 15 000 голов. Уже были выработаны формы неявного угнетения рядовых казаков верхушкой казачества. Многие авторы рисуют непривлекательный духовный облик казаков. Клятвопреступление, двоедушие, изворотливость, ложь, бегство с поля боя, дезертирство, стяжательство, жадность, поиски виновных среди безвинных, доносы и оговоры не были редкостью. И тут нечему удивляться: рядом жили, ели из одного котла часто люди, еще вчера не знавшие друг друга, и неизвестно, останется ли вчерашний пришелец в Сечи или завтра уедет искать другое место для житья и поиска наживы.

Гетманы (в том числе и возведенные впоследствии в герои) и казацкая верхушка постоянно металась к полякам, татарам, туркам... Даже после Переяславской рады гетман Выговский, сменивший скончавшегося Богдана Хмельницкого, дважды присягнувший на верность московскому царю, взял курс на поглощение украинских земель Польшей ради того, что лично ему были обещаны различные блага. Он зверски расправился с теми, кто был недоволен его новым курсом. Когда русские войска под командованием князя Трубецкого пошли на помощь тем украинцам, которые не хотели возврата под иго католической Польши, Выговский, вступив в союз с крымским ханом Мухаммед-Гиреем, нанес русским поражение под Конотопом. Но всенародное восстание украинцев в сочетании с наступлением армии Трубецкого заставило Выговского бежать в Польшу, где он был вскоре расстрелян. По словам журналиста Сергея Макеева, «Гетманы всегда предавали Россию в самый трудный момент. При этом и речи не шло о «незалежности» и «самостийности»: только о смене подданства и о временных выгодах для гетмана и его окружения, так обстояло дело и в случае с Мазепой. Никогда не было действительно народной республики, защищавшей «чернь» от наглой польской шляхты, турецко-татарских поработителей и русских бояр. Они были изредка и только в зародышах, хотя воевали казаки со всеми соседями постоянно. Зато у бедноты остались воспоминания о казаках как о «лихих людях». Так что Гоголь и тут вводил русских читателей в заблуждение. (А еще собирался написать многотомную «Историю Малороссии»!)

Оторвемся на время от милой сердцу Гоголя Запорожской Сечи и взглянем на северо-восточный край Русской земли. Владимиро-Суздальская (затем Московская) Русь, подвергшаяся ордынскому нашествию, еще в XIII—XIV веках сложилась в рамках улуса Джучи как часть великой империи Чингисхана. Русские князья, совершавшие поездки в столицу империи Каракорум, видели безбрежные просторы и в то же время прекрасно организованное государство с почтовыми трактами, армию, связанную строжайшей дисциплиной, демократию (выборы главы империи на курултае), законность, веротерпимость и пр. Города Орды повидали многие тысячи русских мастеров. И после этого загнать их мировоззрение в пределы крохотных уделов было уже невозможно. Русский народ уже в то время сложился как народ евразийский (не в том пошлом понимании этого слова, какое господствует в современной политологии). А области вокруг Киева (будущие украинские) вскоре вошли в состав

Польско-Литовского государства и до XVII века жили мечтой о независимости и восстановлении Великой Руси (то есть Киевщины), не обращая особого внимания на своего северного соседа, как не имеющего отношения к проблеме «вильной Украины». Москва же крепла и возвышалась, присоединяя земли в Сибири, много большие, чем Украина, а в южных степях слепые кобзари пели бесконечные думы о казацкой славе.

Не упускали казаки возможности пограбить не только ляхов или басурман, но и северного соседа, когда для этого появлялись подходящие условия. Особенно буйствовали они на российской земле во время Смуты начала XVII века. В 1618 году гетман Сагайдачный возглавил поход 20-тысячного войска на Москву, помогая Польше посадить королевича Владислава на Московский престол. Войско Сагайдачного сожгло и разграбило Елец, Ливны, Ярославль, Переславль, Романов, Каширу, Касимов, а также осадило Москву. Нередко их зверства не уступали по жестокости деяниям поляков. Не стеснялись они и грабить православные храмы, похищать оттуда золото и серебро – и священные сосуды, и оклады икон (есть немало свидетельств фактического безверия многих казаков). До того казаки Сагайдачного успешно захватили Варну, где взяли добра на 180 тысяч злотых, ограбили Кафу в Крыму и выиграла сражение с турками под Хотинем.

Казаки составляли ударную силу самозванцев и предводителей крестьянских войн в России – Ивана Болотникова, Степана Разина и Емельяна Пугачева, войн, которые потрясли самые основы Российского государства.

Украинские историки любят напоминать о жестокости русских воинов. Так, Меншиков, взяв столицу гетмана Мазепы Батурин, расправился с ее защитниками, казнив несколько тысяч украинцев. Война редко ведется по законам благородства (если вообще когда-нибудь так ведется), и жестокими оказываются едва ли не все стороны конфликтов, и вряд ли можно кого-то оправдывать. Но данную ситуацию следует пояснить. В Батуристине были сосредоточены запасы продовольствия и подкрепления для войск Мазепы, и потому к этому городу спешили Карл XII и Мазепа. Промедление с взятием города было для русских смерти подобно. На предложение Меншикова сдать гарнизон крепости ответил отказом, пришлось брать ее штурмом. Держать пленных было негде, охранять их было некому. Пленные же были не простые, среди них были и сердюки – воины из личной охраны Мазепы. Как поется в известной песне, «печальная история...». Но ненависть безродной верхушки казачества к москалям, возникшая много раньше этого эпизода, отмечается многими историками.

Весьма популярный в XIX веке писатель Михаил Загоскин в своем романе «Юрий Милославский» так рисовал «доброе», положительного казака, который не раз спасал героя романа, русского боярина, от неминуемой гибели:

«Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуяннить; но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Правда, это случалось иногда зимою, в трескучие морозы; но зато и летом он поступал с ними с тем же самым милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей, которые называли его отцом Киршею и говорили, что он не запорожский казак, а баба. Вечно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного ему добра – вот правило, которому Кирша не изменял во всю жизнь свою».

На фоне такого доброго казака легко представить себе нравы его менее добрых товарищей.

Еще одна любопытная деталь: об одном из главных персонажей своей повести «Нос» Гоголь говорит: «Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный». И его супруга ругает его, повторяя: «пьяница!» А между тем казаки дуют горилку (не водку, а почти чистый спирт!) чуть ли не ведрами, но это нисколько не омра-

чает их благородный облик рыцарей. «Что позволено Юпитеру, не позволено быку»... Ни в одном произведении Гоголя нет ни единого светлого образа русского человека, тогда как казаки предстают образцами благородства (в казацком же понимании).

Читателей подкупало то, что казаки погибали в боях со словами: «Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» Вот и Тарас, сжигаемый врагами на костре, кричит: «... подыметесь из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..»

Только не знали читатели, что в XV—XVI веках Русью в тех местах называли Киев и его окрестности, бывшие южнорусские княжества. Владимир Мавродин говорил «о наименовании Русью, Русской землей только области среднего Приднепровья... города Киев, Чернигов и Переяславль (Русский, Южный», в отличие от Переяславля-Залесского» (Цит. соч., с. 163). Жителей же Московского государства западноевропейцы называли москвитями, а казаки – москалями. И, конечно же, говоря о русских, о русской земле и ее царе, Бульба вовсе не имел в виду москвичей или вологжан. И сам исполнитель роли Тараса Бульбы в фильме Бортко Богдан Ступка играл героя Украины. Многие украинские интеллектуалы считают: «Для нас Украина и Русь – тождественные понятия... Петр I в начале XVIII века заменил «Государство Московское» на «Государство Российское». Это мы изначально были Русью, русичами, и жили на русской земле... При жизни Гоголя в нем видели только хитроватого хохла. Это потом он стал классиком русской литературы» («Комсомольская правда», 31.03.2009).

Русский человек – служивый человек, государственный, его идеалом никак не могли быть гульба, пальба и анархия (разве что в свободное от службы время). Но и казаку жизнь служивого русского человека (прозаическая на вид, но часто исполненная героизма и, во всяком случае, чувства долга) должна была казаться скучной и унылой. Гоголь с его идеалом казацкой вольницы, предназначавшимся для России, тут, что называется, попал пальцем в небо.

Но написана повесть изумительным языком, это – самое живописное произведение Гоголя: ведь речь идет о казаках, прежних, славных украинцах. Как переживает читатель за Кукубенко и за других погибающих в битве с врагом храбрых запорожцев! Не удивительно, что и многие русские воспринимали автора повести как своего, русского писателя.

Были попытки и с социологической точки зрения обосновать выбор Гоголем казака в качестве идеала. Так критик Виктор Виноградов в книге «Гоголь и натуральная школа» утверждал:

«Тяготение Гоголя уйти от знакомых, мелкопоместных сюжетов и характеров в мир фантастических грез о малорусско-казацкой жизни вытекало из той психологии тоски и разочарования, которая рождалась в лучших людях помещного класса в эпоху распада поместно-патриархальных устоев под влиянием денежно-меновой культуры».

Но вернусь к XVII веку. Тогда гнет польских панов и опустошительные набеги крымских татар становились невыносимыми, и казачьи вожди не раз обращались к России с просьбой о присоединении к ней. Наконец, Земские соборы 1651 и 1653 годов дают добро на этот шаг, и Россия вступает в 14-летнюю войну с Польшей – в ущерб своим интересам. (У нее тогда наметился союз с Польшей против Швеции, что давало возможность решить давний «ливонский вопрос», и от него пришлось отказаться.) Сознавая невозможность сохранить независимость Украины в тех исторических условиях, гетман Богдан Хмельницкий выбрал как наименьшее из зол союз с Россией. По его инициативе Переяславская рада приняла решение о воссоединении Украины (это была тогда сравнительно узкая полоска земли на левом берегу Днепра) с Россией. Польша бросила все силы против России, и это позволило казакам очистить от панов всю Украину.

А дальше произошло то, что не раз случалось с народами, «благодетельствованными» Россией. Новые гетманы призывают к «самостийности» и, вступив в союз то с крымским ханом, то с поляками, наносят русским войскам тяжелые поражения. Победа «самостийности» оборачивается новым подчинением Польше, которая признала привилегии казацкой старшины, чтобы вернуть под панский гнет рядовых казаков и крестьянство. А крымские татары уже безнаказанно грабили украинские города и села, увозя каждый раз тысячи пленников-рабов. (Украинские историки называют это время «руиной».)

И тогда украинские города просят русского царя принять их страну под свою высокую руку и править ею «по всей его государевой воле». А в России как раз в это время складывается новый курс – на расширение государства преимущественно на юг, через славянские и греческие земли к Царьграду («тишайший» царь Алексей Михайлович был одержим идеей стать государем всех православных стран, ради чего пошел и на церковную реформу, породившую раскол). Так, поэтапно, пролив немало крови своих воинов, Россия присоединила к себе всю Украину. А Екатерина II решила избавиться от очага бунтовщиков в центре империи и ликвидировала Сечь, запорожских же казаков переселила на Кубань, наделила землей и поставила на охрану южных рубежей государства. Существовали планы перевести казаков в крепостное состояние, но казацкие атаманы убедили Николая I не делать этого. Так окончательно сформировалось сословие казаков – земледельцев и воинов. В итоге как бы частично осуществилась в новой форме идея Александра I, осуществление которой царь тогда поручил Аракчееву, о создании военных поселений, обитатели которых были бы солдатами, но кормили бы себя сами.

И Гоголь родился уже на этой Украине, ставшей частью Российской империи. Он был воспитан в традициях казацкой славы и, получив известность в России как писатель, возродил в своей повести уже исчезнувший с исторической арены идеал казака как совершенного человека, противостоящего «дряни и тряпке» – русскому (да и западноевропейскому, вообще современному Гоголю) человеку. Правда, выработал он и еще один идеал – христианского подвижника (как его понимали многие в православной, да отчасти и в католической церкви, особенно монахи), образец которого он вывел сначала в повести «Портрет» (о ней – чуть ниже).

Гоголя многие, несмотря на очевидную несостоятельность этого взгляда, продолжают считать не украинским, а русским писателем. Это в большой мере объясняется совершеннейшим незнанием большинством россиян истинной, а не придуманной «русскими патриотами» истории взаимоотношений Украины и России. Поэтому есть смысл остановиться на одной частной стороне этих отношений.

## Украинцы покоряют Москву и Петербург

*«Когда Русь была мононациональным (не путать с моноэтническим) государством, столицей был Киев. Это была типичная конструкция восточнославянского государства, входящего в сферу духовного влияния Византии... Потом последовало иго, раздробленность, и от татар Русь восприняла новый имперостроительный импульс.*

Московское царство стало радикально иным геополитическим образованием. Это было более не национальное государство, а Евразийская империя с православной идеологией византизма и ордынским хозяйственным, военно-стратегическим централизмом, – пишет Александр Дугин. – Геополитическая роль Киева существенно изменилась. Малороссия, колыбель государственности русских, стала Окраиной, Украиной. Причем по ряду обстоятельств часть малороссийских земель – особенно западных – попала под устойчивое геополитическое влияние Средней Европы... Начиная с определенного момента Киев становится проводником западных тенденций».

Дугин, как и практически все современные исследователи, считает началом Русского государства Киевскую Русь, тогда как в действительности великорусская народность образовалась в XII веке в пределах Ростово-Суздальского княжества (с середины XII века – Владимиро-Суздальского великого княжества). «В представлении суздальцев киевский князь, возвращавшийся из похода в Ростово-Суздальскую землю к себе в Киев, едет «в Русь». Для суздальского летописца «Русь» – Юг, Приднепровье, Киев, а он сам – житель земли Суздальской» (*Мавродин В.В. Происхождение русского народа*. Л., 1978. С.163). И дело здесь не в каком-то областном патриотизме, а в понимании того, что возникло **государство нового типа**, созданное великим князем Андреем Боголюбским. В этом государстве на смену анархической вольнице удельных князей возникло единоедержавие, позднее преобразившееся в православное самодержавие – эту идейную основу великорусской государственности. Андрей завоевал еще и титул великого князя киевского. После заговора бояр, приведшего к гибели Андрея, на престол вступил его брат Всеволод Большое Гнездо. Он подчинил себе Киев, Чернигов, Рязань, Новгород. При нем Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего расцвета и стало самым могущественным из всех княжеств на территории прежней Киевской Руси. И уже письменные источники того времени отметили такое обособление Северо-Западной Руси как шаг к образованию самостоятельного великорусского государства. А позднейшие исследователи прозевали становление как великорусской, так и самобытной украинской цивилизации. Но на этом пункте я здесь останавливаться не буду.

Возрождение Украины началось в XVII веке. Московское государство было к тому времени разорено польско-литовско-шведской интервенцией и внутренними неурядицами, а Киев стал вновь, как и при Ярославе Мудром, очагом восточноевропейской образованности, с церковной Академией, где преподавание было поставлено на хорошем европейском уровне. Студентов там учили не только богословию и греческому и латинскому языкам, но и стихосложению. И, едва избавившись от опасности опустошительных казацких набегов, Россия (Великороссия) при первых царях из династии Романовых надолго подпадает под духовную оккупацию поляков, малороссов и иных носителей западнославянской культуры. «Будучи европеизированы в большей степени, чем великороссы», они оказались «учителями русских» в научении именно западным, польско-латинским ценностям, ценой отказа от своих русских (великоросских и украинских), как, например, уже в XVII веке было заброшено (и к традициям которого обращался «не модный» в своем веке Артемий Ведель) дивное древнерусское церковное пение ради непонятно даже чем прельстившего (кроме разве что импортной наклейки) даже на Западе тогда не очень совершенного партесного», – пишет один публицист. В украинских наставниках не видели иностранцев, и, например, «с иностранным засильем боролись, но с немецким, а не с украинским!»

При Алексее Михайловиче главным идеологом двора, основателем придворного театра, законодателем мод в литературе и воспитателем царских детей (рожденных от Милославской: Алексея, Софьи и Федора) становится монах Симеон Полоцкий (в миру – Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович). По мнению исследователя истории русской богословской мысли и культуры протоиерея Георгия Флоровского, «довольно заурядный западнорусский начетчик, или книжник, но очень ловкий, изворотливый, и спорый в делах житейских, сумевший высоко и твердо стать в озадаченном Московском обществе <...> как пиита и виршеслагатель, как ученый человек для всяких поручений». Родился он в Полоцке, который в то время входил в Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой. Учился в Киево-Могилянской коллегии. Возможно, во время обучения в Виленской иезуитской академии Симеон Полоцкий вступил в греко-католический орден святого Василия Великого. Вернувшись в Полоцк, принял православное монашество. При посещении этого города Алексеем Михайловичем, Симеону удалось лично поднести царю приветственные

«Метры» (стихи) своего сочинения, которые были благосклонно приняты. Затем он отправился в Москву. Царь поручил ему обучать молодых подьячих Приказа тайных дел. Симеон активно участвовал в подготовке, а затем и проведении Московского собора по низложению патриарха Никона.

По уполномочию Восточных Патриархов, приехавших в Москву по делу Никона, Симеон произнес перед царем орацию о необходимости «взыскати премудрости», то есть повысить уровень образования в Московском государстве. Он был назначен придворным поэтом. Благодаря тому, что Симеон был учителем у Федора Алексеевича, этот царь получил отличное образование, знал латынь и польский, писал стихи. Симеон Полоцкий составлял речи царя, писал торжественные объявления. (О нем и о его творчестве в 2011 году вышла в Минске книга Бориса Костина, которая так и называется: «Симеон Полоцкий».)

Но еще до Симеона Полоцкого в Москве появились украинские просветители русских. В XVII веке в Московском царстве не было высших учебных заведений, а, следовательно, и образованных людей – кроме украинцев, греков и западноевропейцев. «Немцы» оказались искуснее в военном деле, ремеслах и торговле, греки сведущи в делах веры, а малороссы взялись за развитие официального и книжного языка на основе церковнославянского языка, киевского и московского наречий. Москва широко открыла двери перед образованными выходцами с Украины, желавшими попробовать себя на поприще приобщения царских подданных к высотам мировой культуры.

Первые школы после окончания Смуты создавались украинцами, ими же были написаны учебники, по которым обучались и украинцы, и русские. «Словенска грамматика» Мелентия Смотрицкого вышла в 1619 году; «Лексикон» Памвы Беринды – в 1627-м и др. По этим и другим книгам, написанным украинцами, учился позднее поморский юноша Михайло Ломоносов. Даже название нашей страны поменялось благодаря ученым-малороссам. Сначала украинские ученые внесли идею преемства московского престола от киевского (что было исторической натяжкой), и московский царь стал именоваться «царем Великия, и Малыя, и Белыя Руси». Затем вместо «Русь» стали писать «Россия».

Как показал российский ученый Кирилл Фролов («НГ», 30.07.1998), в результате воссоединения 1654 года уроженцы Киева и Львова сделали хозяевами положения на научном, литературном и церковном поприще России. Идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей мере в Киеве. Венцом ее стал знаменитый киевский «Синописис», написанный предположительно Киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII века). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно «Синописису», «русский», «российский», «славянороссийский» народ – един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и от «племени его» весь целиком... Россия – едина. Ее начальный центр – царственный град Киев, Москва – его законная и прямая наследница в значении общего «православно-российского» государственного центра.

Подыгрывая царю Алексею Михайловичу в его стремлении овладеть Константинополем (подзуживали его на это провокаторы-иезуиты, желавшие втравить Русь в войну с Турцией, чтобы тем самым уменьшить силу натиска турок на Священную Римскую империю германской нации), киевские монахи унифицировали духовную литературу на Руси. Это после изменения части церковной службы и обрядности патриархом Никоном привело к расколу в Русской Церкви, идеологическое и кадровое обеспечение которого обеспечивали выходцы с Украины. Оно также привело к маргинализации московской культуры. Все те духовные богатства, которые Русь накапливала в течение пяти веков, после такой «реформы» надолго оказались в забвении.

Приезжие просветители были поражены невежеством москалей, которые не проходили в школах ни тривиума, ни квадравиума (так именовались на Западе две ступени средневекового обучения «семи свободным искусствам») и не слыхивали о понятиях «тезис» и «антитезис». Самобытная русская культура, тогда процветавшая, была им чужда, и они ее попросту не заметили, как и высокий уровень грамотности (что было утрачено в имперский период и потому объявлено историками как бы не бывшим). Русские в свою очередь не вполне понимали своих просветителей, ибо уже привыкли к тому, что истина не рождается в диалектических диспутах с тезисами и антитезисами, а просто объявляется на Соборной площади царским указом. Но чужеродные правила стихосложения, например, усваивали. Только плоды их выглядели часто просто чудовищно, можно привести тому множество примеров.

«Все это дало повод, – продолжает Кирилл Фролов, – известному русскому философу Николаю Трубецкому утверждать, что **«та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры»**, что русская культура XVIII—XIX веков – это русская культура в ее малороссийской редакции.

При Петре I, нуждавшемся в образованных на западный образец помощниках, главным идеологом становится украинец («дважды выкрест», как писали о нем недоброжелатели) Феофан Прокопович, архиепископ, создатель «Духовного регламента», насаждавший совместно с Петром протестантские воззрения и тенденции в Русской Церкви. В церковной иерархии перед и непосредственно после упразднения патриаршества в России ведущее положение занимают малороссы, преимущественно воспитанники Киево-Могилянской академии. Главный противник Прокоповича епископ Стефан Яворский, выступавший против протестантистского засилья в Церкви, зато сам находившийся под сильным влиянием католицизма, стал в 1700 году митрополитом Рязанским и Муромским; в 1701 году – экзархом (блюстителем патриаршего престола), а в 1721 году – Президентом Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода). Митрополит Димитрий Ростовский (в миру казак Даниил Туптало), составитель собрания излюбленного чтения грамотных россиян «Жития святых», поражался невежеству великороссов, в том числе и священнослужителей, и задавался вопросом: кого сначала просвещать – паству или пастырей. Епископ Иоанн (Максимович) был поставлен митрополитом Tobольским и всея Сибири. (Его епархия простиралась от Северного Ледовитого океана до Китая и от Урала до Камчатки). Его преемниками также были малороссы Филофей (Лещинский) и Павел (Конюшкович). Словом, как пишет Андрей Окара, произошла «украинизация церковной жизни в России». Немало украинцев заняло места и в других сферах управления государством. «В определенном смысле, – пишет тот же Окара в другой своей работе, – **Российская империя образовалась путем синтеза московской системы власти и киевской образованности**, а импероосновательной мистерией для нее стала Полтавская битва, значительно пошатнувшая положение украинской государственности». Вообще украинцев отличали гораздо более тесные, чем у русских, земляческие связи. Специалисты отмечают, что близкие ко двору и ведающие просвещением русских украинцы того периода оказали большое и не всегда благотворное влияние на развитие русского языка и литературы, и понадобились немалые усилия Ломоносова, Державина, Пушкина, чтобы отчасти выправить этот крен.

Не всегда малороссы попадали в высшие сферы российской государственности в силу своей более высокой, чем у русских, образованности. Порой их возвышение объяснялось игрой случая. Не могу отказать себе в удовольствии привести разительный пример этого.

Тайным мужем императрицы Елизаветы Петровны был малороссийский пастух Алексей Разумовский (Розум), попавший в Петербург в церковный хор и поразивший тогда еще царевну приятным голосом и красотой. Как говорится в его биографии, в день восшествия Елизаветы на престол он был пожалован «в действительные камергеры, поручики лейб-кам-

пани с чином генерал-аншефа и вслед за тем получил звание обер-егермейстера, ордена Святой Анны и Святого Андрея Первозванного и несколько тысяч душ крестьян». Достигнув столь быстро и неожиданно высших государственных чинов и важного значения при особе государыни, Алексей Григорьевич Разумовский прежде всего вспомнил о своих родных, которые жили в небольшом хуторе Лемеша, где мать содержала шинок, а брат Кирилл пас скотину. Алексей Григорьевич поспешил вызвать их к себе. Мать Алексея была назначена статс-дамой, но она не захотела оставаться при дворе и вскоре уехала с дочерьми на родину. Алексей оставил при себе брата и занялся его воспитанием, приставив к нему лучших учителей. Когда тот был достаточно подготовлен, Алексей отправил его за границу на обучение. Кирилл Григорьевич пробыл за границей 2 года – учился в Кенигсберге, потом в Берлине и, наконец, во Франции. Возвратившись в Петербург, он, как учившийся в университетах и усвоивший светские манеры, вскоре был назначен президентом Академии наук. Позднее он получил также специально для него восстановленную должность Малороссийского гетмана.

Гетманство Разумовского ознаменовалось для Малороссии многими полезными событиями: избавлением украинцев от тягостных крепостных работ, внутренних пошлин и разных сборов, разорительных для народа; разрешением свободной торговли между Великой и Малой Россией и пр.

Любопытна такая подробность. У К. Г. Разумовского были шестеро сыновей и пять дочерей, отличавшихся редким, даже по тем временам, высокомерием и спесивостью. Попытки гетмана образумить свое потомство оказывались тщетными, а от одного из сыновей он получил широко повторявшийся современниками ответ: «Между нами громадная разница: вы – сын простого казака, а я – сын русского фельдмаршала». Этим высоким воинским званием К. Г. Разумовский был награжден пришедшей к власти (не без помощи заговорщиков, среди которых был и он) Екатериной II, испытывавшей к нему известную слабость. Отсюда характеристика из екатерининских записок: «Он был хорош собой, оригинального ума, очень приятен в обращении, и умом несравненно превосходил своего брата, который также был красавец». Неплохую карьеру сделали и дети Кирилла Разумовского.

При Елизавете семилетним мальчиком, благодаря своему чудному голосу, был принят в Придворную певческую капеллу в Петербурге украинец Дмитрий Бортнянский, ставший одним из первых основателей классической российской музыкальной традиции. Ему, как особо одаренному музыканту, назначают художественную стипендию – «пансион» для учебы в Италии. После возвращения в Россию Бортнянский был назначен учителем и директором Придворной певческой капеллы. Звуками его произведений наполнялись храмы и аристократические салоны, его сочинения звучали и по случаю государственных праздников. До сих пор Бортнянский справедливо считается одним из самых славных украинских композиторов, гордостью и славой украинской культуры, которого знают не только на родине, но и во всем мире.

Менее удачно сложилась судьба другого украинца – композитора, сына казака, Максима Березовского. Он получил высшее образование в Киево-Могилянской академии. За исключительные вокальные данные был послан в Петербург, где стал солистом в Придворной певческой капелле князя Петра Федоровича. 9 лет жил в Италии, куда был направлен для совершенствования. Согласно легенде, в Италии был связан с княжной Таракановой. После ареста последней был возвращен в Россию и зачислен на скромную должность в Придворную капеллу. Постоянная нужда, невозможность найти применение своим творческим силам привели Березовского к душевному кризису. Оскорбленный, униженный, терпя бедность, нужду и всяческие неудачи, Березовский заболел горячкой и в возрасте 32 лет скончался. Есть версия, что композитор покончил с собой. Березовский – автор духовных концертов,

являющихся выдающимися образцами мирового хорового искусства XVIII века. Особенно широко известен его концерт «Не отвержи мене во время старости».

Недолго блистал и Артемий Ведель – украинский композитор (автор многоголосной церковной музыки) и певец (тенор), умерший в 38 лет. Более всего прославился своими 29 пышными хоровыми концертами, которые исполняются и поныне.

Украинцы внесли и весомый вклад в становление светской русской живописи.

Сын священника Дмитрий Левицкий учился изобразительному искусству у отца и у живописца А. П. Антропова, затем переехал в Петербург. Учился, а позднее и преподавал в Академии художеств. Показал себя первоклассным мастером парадного портрета. Вершиной творчества Левицкого – и всего русского портрета XVIII века – стала серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц. Серия «Смолянок» – шедевр мирового искусства. А на портрете Екатерины II она представлена величественной, мудрой и просвещенной законодательницей. Художник также создал уникальную портретную галерею деятелей русской культуры.

Владимир Боровиковский, сын казака из Миргорода, писал образа для местных храмов. Расписал интерьер дома в Кременчуге, предназначавшийся для приема. Екатерины II. Она отметила работу художника и повелела ему переехать в Петербург, где он приобрел славу выдающегося портретиста.

И после Разумовских немало украинцев сделало головокружительную карьеру на русской государственной службе.

Сын украинского казака Александр Безбородко был одним из ближайших сподвижников Екатерины II, был возведен в графское достоинство, сохранил свое положение и при Павле I, стал канцлером и светлейшим князем.

«Украинцы чрезвычайно индивидуалистичны, – пишет украинский журналист Александр Кривенко. – Американские негры, китайцы, русские – мальчики, если сравнивать их с эгоизмом украинцев. Каждый украинец убежден, что является самодостаточной личностью, остальные на порядок ниже» («НГ», 26.01.2000). Это не мешает им держаться на чужбине, в том числе и в России, некими кланами. Украинцы – хорошие хозяева («АиФ», № 32, 1997). Точнее бы сказать: **украинцы – народ хозяйственный, русские – народ политический.**

Журналист Игорь Малашенко признает: «Даже такой близкий русским этнос, как украинцы, обладает совсем иной национальной психологией.... По своему этнопсихологическому складу украинцы более европейцы, чем русские, которым, в общем-то, чужд пафос собственного противопоставления другим этносам» («НГ», 21.11.1991). Образованные украинцы в большинстве своем всегда были носителями прозападных воззрений. Они с момента вхождения Украины в состав России и до наших дней в большинстве своем сначала неосознанно, а затем и открыто стремились к отделению от империи и вхождению в ряды «цивилизованных стран», то есть государств Западной Европы. А Киев стал проводником западного влияния в России.

Гоголь к числу таких «цивилизованных малороссов» не принадлежал, Европу он повидал и уже предвидел ее скорую духовную смерть (за исключением, может быть, любимой Италии, – см. его отрывок «Рим»). Он хотел единства Украины с Россией на украинской основе. В этом его отличие от своего современника Тараса Шевченко. Как отмечали критики, для Шевченко столица России Петербург – это этический полюс абсолютного зла, город-упырь, болотный Ад, противопоставляемый «городу на холмах» – Киеву-Иерусалиму. Гностически-манихейское отношение Шевченко к Российской империи как к носительнице метафизического зла в значительной степени будет определять ценностные ориентиры послешевченковского украинского национализма. Однако именно в отношении к Петербургу как к городу-морю, городу-призраку Гоголь с Шевченко сходны абсолютно.

Большинство украинских интеллигентов согласны с выводом Владимира Петрука, автора книги «Страна Великочудия» (так он называет Россию): «русские с украинцами только соседи, но ни в коем случае не родственники и тем более не братья». Так же оно убеждено в том, что «Гоголь – прежде всего украинский писатель (тогда как украинка Анна Ахматова – совершенно русская)» («АиФ», № 32, 1997).

Вернусь к статье Дугина, с цитаты из которой этот раздел начал:

«...Киев является символом национального государства, региональной державы, а Москва – символом Империи, евразийского интеграционного ансамбля.

Киев – это прошлое, Москва – настоящее и будущее.

Важно, что сами великороссы образовались именно как евразийский интеграционный этнос, не просто как самая восточная ветвь славян, а как уникальное культурно-религиозное, этногосударственное образование, вбирающее в себя на этническом уровне не только собственно славянский, но и татарский и финно-угорский элемент. Великоросская (московская) идея не просто идея какой-то национальности – как, например, украинская идея. Великоросская идея и миссия великороссов – то есть подлинных русских – в том, чтобы утвердить колоссальный планетарный идеал, великую Правду, осознанную как Евразийская Империя Солнца, Империя Справедливости.

Киевская идея – более ограниченная, более европейская, менее универсальная, менее глобальная. В мессианском идеале Москвы последовательные малороссы, малороссы не по этническим признакам, а по идеологии, видят лишь имперские амбиции и колониализм. Свой же идеал – малоросский идеал – они видят, напротив, в довольно усредненной форме. Как «мелкобуржуазный» идеал «благополучия», «достатка», рачительности» и т. д.»

Или, как писал Алексей Плотицын, Россия является отдельной цивилизацией, подобно исходно католической Европе, исламскому миру, Индии или Эфиопии. Этот мир (Россия) ощущал и определял сам себя через оппозицию и ненависть к «латинству», то есть к Европе. Даже отношение к «бесерменству» (исламскому миру) носило значительно более миролюбивый характер.

Эта цивилизация считала (да и продолжает считать), что несет в себе некий свет и надежду для всего человечества, некий палладий – будь то православие, крестьянская община или марксизм-ленинизм. Содержание не так важно – важно противопоставление Западу.

Осчастливливание, утверждение Истины – вот важнейший (хотя и не всегда четко осознаваемый) стимул к расширению империи. Впрочем, имперская идея обладает и завораживающей самоценностью. «Третий Рим» первоначально был претензией на наследство кесарей – законную власть над Ойкуменой. Как тут не вспомнить Тютчева, который в одном из стихотворений провозглашал естественными границами России Эльбу, Нил и Ганг» («НГ», «Особая папка», № 5, 29.09.2000). Украинцы же стремятся к Западу. Окара признает, что «малороссийская идентичность исходит из представления об украинской культуре как культуре «домашнего вжитку». Если же их ультранационалисты и говорят о придуманной ими древней Украине, господствовавшей почти над всем миром, то она мыслилась только как государство столь же мифических «укров» (из среды которых якобы вышли и Матерь Божия, и Иисус Христос), то есть опять-таки как государство одной национальности.

## **«Портрет» как автопортрет Гоголя**

Этот раздел я хотел бы предварить цитатой из работы Александра Привалова «Иван Александрович Хлестаков и его Автор» («Эксперт online», №12, 2009):

«Теперь сюжеты. Сколько-нибудь сложных – у Гоголя (за вычетом «Тараса Бульбы») вроде и нет: во всех основных шедеврах сюжетами служат одноходовые анекдоты. Человек с заслуженно прославленной зоркостью на мелочи мог бы, кажется, разглядеть в Божьем мире что-нибудь и позатейливее, да, верно, не пожелал. То же и с героями. Развивающихся по ходу повествования персонажей опять-таки нет – ну, разве Поприщин, поскольку распад тоже есть развитие. По мне, эти наблюдения подтверждают гипотезу о писании большей частью изнутри, исходящем от собственных неподвижных душевных черт, в достаточно косвенной связи с реальностью.

(Тут можно бы попытаться показать, что связь с реальностью, соотнесение себя с реальностью вообще шли у Гоголя почти исключительно через – или хотя бы с помощью – Пушкина; поэтому гибель последнего и стала для младшего коллеги таким страшным, в прямом смысле слова непереносимым ударом. Но это означало бы слишком далеко отойти от избранной темы. Сложнейшие отношения двух поэтов были никак не идиллическими: так, Гоголь написал Хлестакова в том числе и как пародию на Пушкина – и Пушкин это понимал...)

И здесь все-таки стоит добавить самоочевидное. Любого на свете автора бегло перечисленная выше дефектура: и того-то у него нет, и другого – вбила бы в землю по макушку, но сияющей славы Гоголя она даже не задевает. Как до подобных придинок, так и после них человек, открывший наугад «Нос» или «Ночь перед Рождеством», забудет, куда только что спешил, и будет читать дальше и дальше. Потому что Гоголю дана была власть, о которой мы, за неимением лучшего определения, говорим: «великий писатель». Секрета его величия не знает, кажется, никто, хотя блестящие умы писали о Гоголе, и много изумительно точных слов сказано о нем. Так, мы знаем, что он умел поразительно ясно выражать в своих текстах бескрайний простор – степь ли, пространство ли «Мертвых душ» – Россию. Но как он это делал – неизвестно. Мы знаем, что в его вещах «форма, то, как рассказано, – гениальна до степени, недоступной решительно ни одному нашему художнику, по яркости, силе впечатления, удару в память и воображение»... Вот только не очень знаем почему».

Так ведь не обязательно углубляться в далекую историю, чтобы столкнуться с подобным феноменом. Посмотрите на список книг, издаваемых ныне в России наибольшими тиражами. Любой мало-мальски образованный человек скажет, что в большинстве своем они бессодержательны, но форма как раз та, что нужна «массовому читателю». Другое дело, что через пару десятков лет никто эти книги и в руки брать не будет, а Гоголя читают более полутора столетия и, видимо, будут читать еще долго, причем не только в России.

Теперь несколько кратких замечаний по отдельным произведениям.

Повесть «Портрет» – самая автобиографическая, даже пророческая вещь Гоголя, хотя сам он вряд ли это осознавал. (В этом разделе я использую материалы внимательного читателя – Михаила Саяпина.) Герой повести художник Чартков упорным трудом, терпя бедность и иные лишения, возвращает свое мастерство. Но временами его, видящего успехи модных художников, постигает мысль: надо скорее схватить счастье за хвост, заработать капитал. Он этого добивается благодаря одному странному случаю, но за временный, конъюнктурный успех расплачивается потерей таланта.

«В «Портрете»... Гоголь поставил перед собой идеологическую сверхзадачу: показать мелкость великорусского человека. Для достижения этой цели он выбрал определенный художественный метод: концентрация внимания на бытовых мелочах как на крупных явлениях, чем достигался необходимый комический эффект. Сходным образом, например, можно сфотографировать крупным планом морщины и поры на лице сколь угодно достойного человека, так что получится неожиданно и где-то даже смешно».

Но почему Гоголь прибегал к подобному приему, который ведь, очевидно же, не мог привести к созданию полнокровного художественного образа, а лишь карикатуры или маски? Он сам это объясняет так:

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей».

Дмитрий Мережковский весьма сочувственно комментирует это признание Гоголя:

«Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясающих развязках трагедий; Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и в глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. **Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, – открыл как бы дифференциальное исчисление, бесконечно великое значение бесконечно малых величин добра и зла. Первый он понял, что черт и есть самое малое, которое лишь вследствие нашей собственной малости кажется великим, самое слабое, которое лишь вследствие нашей собственной слабости, кажется сильным**». (Выделено мной. – М.А.).

Что ж, вполне допускаю, что Гоголь сделал великое открытие в «литературной математике». Но он, наверное, не знал, что дифференциальное исчисление в математике может успешно применяться во многих случаях лишь в сочетании с интегральным исчислением. Мало найти смешную сторону в человеке, надо взглянуть на него «объемно», чтобы получился его цельный образ. Но **Гоголь, видимо, о необходимости сочетать анализ с синтезом не слышал и таковой способностью не обладал. Он просто делал (невольнo) описываемых им персонажей – русских людей – смешными или жалкими**.

Но мало и создать цельный образ персонажа – надо еще вдохнуть в него душу. **Гоголь, так много говоривший о своей душе и так заботившийся об ее спасении, кажется, и не предполагал наличия души у других людей**. Русские люди в его произведениях не только однобоки, но и бездушны.

Вот и получалось, что Гоголь старательно (можно спорить – сознательно или невольнo) «опускал» русское общество. Подобный метод изображения российской действительности многими современниками Гоголя был воспринят как клеветнический – и недаром.

Откуда происходило это бездушие образов его персонажей, можно судить по тому, как даже ближайшие друзья Гоголя характеризовали его личные качества, в особенности – самолюбие, честолюбие, гордость (сам Гоголь, зная, что эти качества – греховны, старался их не показывать).

Погодин с дружеской откровенностью называет Гоголя «отвратительнейшим существом». «Вообще в нем было что-то отталкивающее», – замечает Сергей Аксаков. «*Я не знаю, – заключает он по этому поводу, – любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю – нет; да это и невозможно...* Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости... Я признаю Гоголя святым; это – истинный мученик христианства». В сущности же для Аксакова так и осталось навсегда неразъясненным, что такое Гоголь – сумасшедший или мученик, плут или святой. Степан Шевырев, тоже старый друг и даже отчасти ученик его, видит в нем «неряшество душевное, происходящее от неограниченного самолюбия». Таких отзывов современников о Гоголе множество, а воспоминаний о нем как о душевном, внимательном, бескорыстном человеке практически нет. Отталкивало друзей от Гоголя то,

что в мнительности своей он доходил до безумия. Будучи совершенно здоровым как на вид, так и по объективным показателям, он вдруг ощущал себя больным, причем смертельно, менял место жительства, обращался к докторам (что обходилось в немалую копейку), писал завещание. Во время одного такого приступа депрессии он обратился к знаменитому французскому кардиологу, но тот, обследовав пациента, нашел, что сердце пациента абсолютно здорово, и посоветовал лечить подрастатавшие нервы. И после ободряющих заключений врачей Гоголь преображался. По рассказам очевидца, после долгих месяцев болезни, уныния, страха, именно в то время, когда этого, казалось, можно было всего менее ожидать, овладевали Гоголем *«порывы неудержимой веселости; – в эти редкие минуты он болтал без умолку, острота следовала за остротой, и веселый смех его слушателей не умолкал ни на минуту»*. Он казался вдруг совсем здоровым; так же внезапно исцелялся, как внезапно заболел: точно «припадки» здоровья, чрезмерной силы жизни – обратно-подобные припадкам.

Андрей Белый по-своему объясняет особенность видения мира Гоголем, его умение схватить мелочи и на них строить образы:

«Я не знаю, кто Гоголь: реалист, символист, романтик или классик. Да, он видел все пылинки на бекеше Ивана Ивановича столь отчетливо, что превратил самого Ивана Ивановича в пыльную бекешу: не увидел он только в Иване Ивановиче человеческого лица. Да, видел он подлинные стремленья, чувства людские, столь ясно глубокие разглядел несказанные корни этих чувств, что чувства стали уже чувствами не человек, а каких-то еще не воплощенных существ; летающая ведьма и грязная баба; Шпонька, описанный как овощ, и Шпонька, испытывающий экстаз, – несоединимы; далекое прошлое человечества (зверье) и далекое будущее (ангельство) видел Гоголь в настоящем. Но настоящее разложилось в Гоголе. Он – еще не святой, уже не человек. Провидец будущего и прошлого зарисовал настоящее, но вложил в него какую-то нам неведомую душу. И настоящее стало прообразом чего-то... Но чего?»

Вопреки представлению о Гоголе-бессребренике, многих отталкивал его прагматизм. Гоголь, конечно, не гнался за деньгами или за славой, хотя денег просил и получал их. За «Ревизора» ему заплатили 2500 рублей. По ходатайству друзей, находясь за границей, Гоголь получил от императора 500 червонцев. Шли к нему деньги и от друзей. Последних он еще и нагружал своими делами – следить за изданием его сочинений и распоряжаться гонорарами за них по его указаниям. При этом он, например, поручал друзьям передать часть гонорара в фонд помощи бедным студентам, но не спешил отдавать взятые у этих друзей в долг деньги. Хотя друзья были люди не бедные (если говорить о помещиках, а не о сыне крепостного крестьянина, хотя и академике, Михаиле Погодине), но и не миллионщики, и часто им не доставало тех денег, которые Гоголь не торопился им отдавать.

Как писал автор книги о Гоголе «Ярмарочный мальчик» Юрий Нечипоренко, Николай еще мальчиком любил посещать ярмарки, торговаться с продавцами, и это послужило основой его «невероятной изошренности в управлении людьми... Несмотря на то, что он не ставил перед собой узкокорыстных целей, все, чего он хотел, он через знакомых людей добивался. У него чуть ли не на посылах были Жуковский, Плетнев, и даже Пушкин ходил к министру Уварову, чтобы ему (юнцу Гоголю, не обремененному ни изданными трудами, ни специальными познаниями) дали профессора. Он заставил всех петь о себе, и это было сделано не без умения ярмарочного торговца управлять ситуацией» («Завтра», № 14, 2009).

Один из товарищей Гоголя отмечал, что тот умел проникнуть в сердце человеческое, чтобы играть им как мячиком. Надежда Горлова напомнила, что, Гоголь, «добиваясь желаемого, умел и польстить, и схитрить, и сжульничать. В первый раз Гоголь отправился в заграничное путешествие на деньги, полученные от матери для внесения в опекунский совет... В конце 1829-го или в начале 1830 года Гоголь пришел к Булгарину со стихами, в которых

Булгарин восхвалялся и сравнивался с Вальтером Скоттом. Булгарин походатайствовал за Гоголя перед управляющим Третьим отделением, и Николай Васильевич получил место, не смущенный репутацией учреждения. Впрочем, на место службы Гоголь явился лишь однажды – за жалованьем» («ЛГ», № 14, 2009). О том, как лебезил молодой Гоголь перед нужными людьми в письмах к ним, говорилось выше. Правда, Горлова добавляет несколько сомнительную фразу: «Гоголь, как все гении, соединял в себе «небесное» и до крайности земное... Гоголь ревностно, даже до мелочности, интересовался помещичьим хозяйством в родной Васильевке». Конечно, и гении нуждаются в том, чтобы есть и пить, но вряд ли можно утверждать, что все они соединяли в себе стремление к небесному и усиленное попечение о земном. Многие из них были настоящими аскетами, иные испытывали нужду, даже голодали, но не оставляли своего дела ради того, чтобы заработать на хлеб насущный. Белинский, нуждавшийся всю жизнь, во время одной дискуссии считал даже невозможным ее участникам идти обедать, пока не решен еще вопрос о существовании Бога. Гоголь, при всем своем идеализме, не был лишен прагматизма. Вот что писал по этому поводу Розанов:

«...главная забота, откуда бы получить денежек, через Жуковского исходатайствовать от Двора; и где бы позднее стать, в профессору...

Очень хорош был как профессор. Подвизывал щеку и говорил, что зубы болят, не зная, **как читать и о чем читать**. Зачем ему надо-то было в профессору».

Справедливости ради надо заметить, что умер Гоголь нищим, все оставшееся после него имущество было оценено в жалкие копейки.

«Да еще, – продолжает Розанов, – кому бы прочесть рацею. Даже мамаше еще учеником уездного училища писал поучительные письма.

За всю деятельность и во всем лице ни одной благородной черты.

Все действия без порыва («благородный порыв»), какие-то медленные и тягучие. Точно гад ползет. «Будешь ходить на чреве своем».

Хотя главные творческие муки Гоголя, пытавшегося измыслить положительного героя «Мертвых душ», были еще впереди, создается впечатление, что он их если не предвидел, то предчувствовал и отразил в «Портрете». В этой повести есть как бы внутренняя повесть, в которой выведен художник, который написал портрет страшного ростовщика, принесший потом несчастья множеству сменявшихся его обладателей. Художник решает искупить свою вину и уходит в монастырь. Ибо только «трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу», чтобы иметь право писать иконы. Он, «изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых». Этот его подвиг принес ожидавшиеся плоды. И «вся братия поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая высшая сила водила твоею кистью, и благословение небес почило на труде твоём». Известно, что творческим кредо Гоголя и стало убеждение, что нельзя стать настоящим писателем и создавать образы положительных героев, если предварительно не добиться чистоты души и не выработать в себе сонм христианских добродетелей.

Специалисты по иконописи, вероятно, скажут, что художник из той повести был совершенно прав. Но Гоголь не был иконописцем, он жаждал достичь вершин словесного мастерства, чтобы написать светское литературное произведение, которое перевернуло бы мир. Однако великие художники и писатели часто создавали свои шедевры, вовсе не подвергая себя столь суровым испытаниям, не обременяя себя чрезмерными постами и молитвами, и даже были не чужды мирских наслаждений, порой на грани греховных поступков. Не был постником Рафаэль, так высоко ценимый Гоголем. Не блистал религиозными подвигами и Пушкин, перед которым Гоголь преклонялся (хотя подчас и посмеивался над ним, пародируя его). Даже первая попытка Гоголя лично познакомиться со своим кумиром окончи-

лась неудачей: слуга сообщил ему, что барин еще спит, потому что всю ночь играл в карты (и, уж конечно, не на щелчки). И в дальнейшей своей жизни Пушкин увлекался женщинами и вообще не всегда был воплощением добродетелей. Не случайно впоследствии священник Матвей Константиновский потребует, чтобы Гоголь отрекся от «безбожника Пушкина» (этот взгляд на поэта был довольно широко распространен в церковной среде). А главное, – видимо, вовсе не обязательно очищение себя постом и молитвой приводит художника к созданию гениальных творений. Дан человеку талант от Бога – он его реализует или нет, но обрести талант, которого нет, вряд ли и самая усердная и искренняя молитва поможет. Господь лучше знает, кого каким талантом одарить. Иначе получается, что не Бог – Господин для человека, а человек – господин для Бога и может вынудить у Него любой талант. Это уже не христианство, а некая «христианская йога». А Гоголь сделал ставку именно на то, что он вымолит более высокий талант, чем тот, что был ему дарован свыше, – и проиграл. Гениальные произведения он создал еще до того, как вступил на путь аскезы, и они получились совсем не в том духе, в каком он их замышлял. А величавые образы русских людей, о которых он мечтал, вступая на путь аскетических подвигов, у него так и не получились.

Гоголь поставил перед собой (вероятно, неосознанно) идеологическую сверхзадачу. А подчинение искусства заранее поставленной цели убивает прекрасное. И выбранный им метод изображения российской действительности впоследствии сыграет злую шутку со своим создателем.

Не обошлось в повести и без лести самодержцам: «Великодушная государыня... полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова... что не под монархическим правлением угнетаются высокие... движения души, что истинные гении возникают во время... могущества государей».

Но впечатление повесть производит сильнейшее. Когда я в отрочестве впервые прочитал «Портрет» поздно вечером, я не мог заснуть до самого утра. Да и как тут уснешь: герой «усталый дотащился к себе... в Пятнадцатую линию»; «взобрался... по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек»; бросился на узкий, оборванный диванчик, «о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей»; «свет месяца озарил комнату»; «страшно сидеть одному в комнате»; «кто-то другой станет ходить позади»; портрет старика – «открыт... и глядит... к нему во внутрь»; он «вдруг уперся в рамку обеими руками, приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выскочил из рамы».

В ряде других повестей Гоголь высмеивает страсть русского человека к подвигу. Герой **повести «Коляска»** (Александр Привалов и его относит к числу предшественников Хлестакова), выпив, приглашает всех на хлеб-соль, но, естественно, тут же забывает об этом, а протрезвев, при приходе званных гостей удирает в кусты, т. е. в коляску. (Вот так. А туда же! Тоже, наверное, в молодости мечтал о подвигах!)

Герой **«Записок сумасшедшего» Поприщин** тоже не может примириться со своим скромным существованием в канцелярии, мучается над вопросом, почему ему отказано в праве быть кем-то великим, наконец, объявляет себя испанским королем и... окончательно сходит с ума. Вот здесь весь Гоголь.

Чтобы подтвердить свою мысль, Михаил Саяпин проводит сравнение образов Гоголя с героями Есенина и Шукшина, с одной стороны, Достоевского и Булгакова – с другой, но в данной работе я этих параллелей практически не касаюсь.

Буквально два слова о гоголевской **«Шинели»**. Дмитрий Храмцев так описал ее героя: «У Акакия Акакиевича нет внутреннего мира, единственная его мысль: «Ну, эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того», он схема, модель литературного типа «маленького» человека (его составляющие: низкая должность, постоянные унижения, бедность, одиночество, отчужденность), а не живая личность, хотя бы потому, что он лишен рефлексии. И живет он в таком же абсурдном, схематичном мире».

А насчет того, будто все мы вышли из гоголевской «Шинели», вот что раскопал писатель Герман Смирнов (см. его книгу «Русский сфинкс». М., 2010. С. 401—402):

«Сколько раз за последние годы доводилось нам слышать фразу Ф.М.Достоевского, что, мол, все мы вышли из гоголевской «Шинели». А спроси оратора, кто же, по его мнению, эти «все мы» – и он, ничтоже сумняшеся, ответит: «Это все мы, русские люди. Федор Михайлович имел в виду, что в каждом русском человеке сидит мелкий, трепещущий человек. И каждый русский в какой-то тайной части своей души – Акакий Акакиевич».

А ведь совсем не это хотел сказать Достоевский. Его современник, писатель Д.В.Григорович, давным-давно все это разъяснил:

– Все тогдашнее молодое поколение, – писал он, – было увлечено Гоголем; почти все, что писалось в повествовательном роде, было отражением повестей Гоголя, преимущественно «Шинели».

Выходит, «все мы» – это не все русские люди, а небольшой кружок писателей 40-х годов!»

Повесть «Нос». История ее публикации и толкований подчас кажется не менее фантастичной, чем сам текст ее.

В 1835 году журнал «Московский наблюдатель» отказался напечатать эту повесть, назвав ее «грязной, пошлой и тривиальной». Но Пушкин уговорил Гоголя отдать ее в свой «Современник», ибо нашел там «так много неожиданного, фантастического, веселого и оригинального». О «Носе» существует множество исследований, но вот в наши дни Николай Кокухин, перечитав повесть, не понял ее. Тогда он обратился к гоголеведоведу профессору Владимиру Воропаеву с вопросом: «О чем эта повесть?» «Не знаю», – ответил профессор, всю жизнь занимавшийся изучением творчества Гоголя.

Тогда Кокухин решил заново перечитать всего Гоголя, и только тут открылся ему религиозный смысл как всего творчества великого писателя, так и повести «Нос».

Оказывается, нос у майора Ковалева пропал потому, что этот чиновник жил без Бога в душе. Но нос, ставший самостоятельной личностью, зашел в Казанский собор и молился там «с выражением величайшей набожности», причем произошло это в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Кроме того, по мнению Кокухина, важно то, что оба слова – «нос» и «Бог» – состоят из трех букв. И утром нос оказался на месте, на лице майора: «Так бывает с человеком, который обрел в душе Бога...»

В чем же, по Кокухину, выразилось это преображение Ковалева? В том, что «с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде... И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам» и т. д. Согласитесь, не самая лестная характеристика человека преобразившегося, вдруг обретшего Бога в душе!

Тем неожиданнее общий вывод Кокухина:

«Николай Гоголь – писатель православный, глубоко религиозный, укорененный в вере, со своим собственным духовным опытом. Все его творчество освещено Евангельским светом, сочинения наполнены глубинным религиозным смыслом. Читатели и критики, которые не знакомы с Евангелием, не знают Нагорной проповеди и Апостольских посланий, а самое главное, живут вне Церкви, читают Гоголя весьма и весьма поверхностно» («ЛГ», № 30, 2011). Это и гоголевская бесовщина освещена Евангельским светом, и те уроды, каких он только и сумел отыскать (точнее, измыслить из своей головы) на Руси?

А вообще-то вместо разбора повестей Гоголя «Нос» и «Шинель» я не мог отказать себе в удовольствии привести остроумнейшую пародию на них Александра Хорта «Нос. Приквел». Мне кажется, ей порадовался бы и сам Гоголь, если бы ему довелось прочитать

ее в «ЛГ» (№ 17, 2009). А уж Пушкину, который напечатал «Нос» в своем «Современнике», и подавно.

Итак, «Нос. Приквел»:

«Читателям прекрасно памятно начало гоголевской истории про самостоятельные странствия носа майора Ковалева. Автор подробно описывает, как цирюльник Иван Яковлевич пытался избавиться от постороннего носа. Какое-то время он мыкался с ним по городу, покуда не наткнулся на квартального надзирателя. Тому, видите ли, не понравилось, что цирюльник долго стоял на мосту. Прицепился к нему как банный лист, мол, изволь-ка расказать, бестия, что ты там делал?

Чем окончилась их перепалка, для читателей остается тайной. Автор так и пишет: «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно».

Действительно, раньше это не было известно. Зато сейчас, когда полицейские архивы доступны для всех желающих, туман над этой историей постепенно рассеивается. Известно, например, что надзиратель пристал к Ивану Яковлевичу с расспросами. Цирюльник держался как камень, своей стойкостью довел надзирателя до белого каления, и тот решил отвести его в околоток. Иван Яковлевич сопротивлялся этому, во время потасовки ковалевский нос выпал из его кармана и убежал, после чего случились известные читателям события. Что действительно мало кто знает, так это почему нос оказался у цирюльника. А ведь было возбуждено дело, и хотя это оказался чистой воды «висяк», кой-какие подробности сохранились.

Все началось с того, что в один прекрасный день майору Ковалеву захотелось изменить форму собственного носа. Увидел, как одна знакомая дама сделала себе две пластические операции, убрав второй подбородок и установив силиконовый бюст, и тоже вознамерился похорошеть.

Внимательно рассмотревши себя в зеркале, майор пришел к выводу, что нужно сделать новый нос. Старый порядком поизносился, был уже с фиолетовыми прожилками, да и форма оставляла желать лучшего. Как выразился один знакомец, его нос напоминал пробку от шампанского. А майору хотелось иметь классический точеный нос с едва заметной горбинкой посередине.

Первым делом Ковалев сунулся в институт красоты, однако там заломили такую цену, которая была ему не по карману. Бежал оттуда без оглядки. А менять надо – уже настроился.

Ковалев каждую неделю брился у некоего Ивана Яковлевича. И слышал от излишне болтливого цирюльника, что его сосед делает на дому пластические операции. Официально тот работает в клинике лазерной медицины, где операции стоят дороговато. Дома же, по старинке – скальпелем, даже без заморозки, делает по дешевке.

Иван Яковлевич поговорил с Григорием Петровичем, так звали хирурга, и тот назначил Ковалеву время для визита.

Григорий Петрович долго рассматривал ковалевский нос, крепко зажав его своими пальцами с изуродованными ногтями. Затем, покачав головой, сказал:

– Нет, нельзя поправить, плохой нос!

У Ковалева при этих словах екнуло сердце:

– Отчего же нельзя, Петрович? – произнес он почти умоляющим голосом ребенка. – Ведь только и всего, что убрать лишнее по бокам да укоротить.

– Нет, – сказал Петрович решительно, – ничего поправить нельзя. Менять надо. Новый ставить.

– Ну, если бы пришлось новый, сколько это будет стоить?

Григорий Петрович, как обычно, был несколько подшофе, поэтому цену назвал достаточно либеральную. Майор согласился. Протерев скальпель водкой и сделав пациенту обезболивающий укол, хирург тотчас срезал орган обоняния и пообещал, что завтра днем на его место будет прикреплен новый.

– Мне как раз обещали привезти хороший импортный нос.

– Не из Китая? – робко поинтересовался Ковалев.

– Нет, греческий. А денек походите без носа.

В те времена стукачество еще не расцвело пышным цветом, однако первые ростки уже пробились на свет Божий, и как раз в тот день кто-то из тайных недоброжелателей Петровича сообщил в компетентные органы, что хирург занимается на дому частной практикой, старательно уклоняясь от уплаты налогов.

Когда в воскресенье утром к нему нагрянули из охраны с обыском, его супруга Алевтина Игнатьевна собиралась печь хлебцы, до которых муж был большой охотник. Тесто уже было готово и порциями покоилось на табуретке в нескольких кружках. Завидев незваных гостей, хирург-надомник быстро сунул в одну из них опасную улику – прежний Ковалевский нос.

Предъявив ордер на обыск, оперативники пригласили двух понятых, одним из которых оказался цирюльник Иван Яковлевич, и принялись было за дело.

В те времена стукачество, как уже говорилось, было развито слабо. А о борьбе с коррупцией вовсе не слышали. Поэтому хозяева предложили людям из органов обильное угощение, от чего те не нашли сил отказаться. Алевтина обещала приготовить пирожков с вязигой. Их оперативники дожидаться не стали. Похлебали борща с пампушками, отведали бараний бок с гречневой кашей, сдобрив это знатной порцией горилки с перцем, и отбыли восвояси.

Надобно сказать, что Петрович пил наравне с незваными силовиками, которые потом преспокойно удалились по своим правоохранительным делам. В отличие от них, не обладая столь тренированным организмом, Петрович едва дошел до дивана, рухнул на него и вырубился.

А Алевтина Игнатьевна продолжила кухарить, то есть печь хлебцы. Один из понятых, видя, что угощения не обломится, деликатно удалился, проклиная жлобских хозяев, а второй, цирюльник Иван Яковлевич, делал вид, что надобность в нем не отпала, продолжал торчать в коридоре, в глубине души надеясь на угощение, поскольку уж такой аромат шел от готовых хлебцов, что дух захватывало. Однако Алевтина Игнатьевна была женщина мудрая и смекнула, что замасливать соседа вовсе не обязательно.

Потоптавшись в коридоре, Иван Яковлевич понял, что ему ничего не обломится. Однако возвращаться с пустыми руками страсть как не хотелось. Поэтому, улучив момент, когда хозяйка отлучилась в гостиную, цирюльник схватил одну из стоявших на табуретке кружек с тестом и был таков. Придя же домой, вручил тесто своей супружнице Прасковье Осиповне, строго-настрога наказав, чтобы та утром испекла хлеб.

Надобно ли добавлять, что именно в этой кружке и был спрятан орган обоняния, который хирург отхватил намеренно с Ковалевского лица.

Утром Иван Яковлевич с неодолимой жадностью принялся есть свежее испеченный хлеб и наткнулся на инородное тело, то бишь нос.

Положение возникло из преудрачких. Признаться в том, как он попал в их дом, нельзя, поскольку обвинят в воровстве. А он подобных инсинуаций терпеть не мог. Такой уж у этого строптивца был характер. Еще могли подумать, что это он, неловко орудуя бритвой, по неосторожности отхватил нос клиента. Обвинение же в непрофессионализме еще хуже воровства. Поэтому Иван Яковлевич решил избавиться от носа, что сделал, правда, недостаточно ловко, что и привело к инциденту с квартальным надзирателем, во время которого нос благополучно сбежал.

Постепенно таинственное происшествие забылось, и только пластический хирург Петрович знал истину. Знал, да помалкивал, чтобы не позориться. Тем более подобный казус был далеко не первым в его практике. Что нос! Был случай, когда он отхватил клиенту целую голову, не уследил, и та, улучив момент, сбежала. Ее потом Пушкин описал. В «Руслане и Людмиле».

Выше уже приводилось суждение Владимира Набокова о том, что «абсурд был любимой музой Гоголя». Вследствие этого проза Пушкина трехмерна; проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна... Его произведения, как и вся великая литература, – это феномен языка, а не идей». Добавлю: и уж тем более не критического осмысления реальной действительности, общественного строя и пр.

## Осмеяние пороков или основ государства?

Жизнь и творчество Гоголя – это ни на минуту не прекращавшаяся трагедия. То, что было ему особенно дорого, проповедь, в которой он видел свою миссию и свое призвание, ему не удавалось и внимание широких кругов читателей не привлекало, а в конце жизни даже основательно его скомпрометировало в общественном мнении. А те его гениальные творения, которыми восхищалась читающая Россия, а впоследствии и многие ценители прекрасного во всем мире, он почитал за мелочи, недостойные его таланта, и намеревался отречься от них. Увы, многие литературные критики ныне возводят на пьедестал слабые стороны наследия гения и обходят стороной его подлинные заслуги. Это, в общем-то, не удивительно, ибо такова сегодняшняя Россия, таковы ее духовные, точнее, идеологические предпочтения, на что есть свои серьезные причины, но о них позже.

Все творчество Гоголя – это восхищение возможным совершенством и величию человека и скорбь о его нравственном несовершенстве и недостойном бытии. Но, – остроумно заметил Розанов, – **Гоголь сначала приземлил человека, а затем скорбел о его несоответствии идеалу**. Гоголь стремился создать «идеал прекрасного человека... тот благостный образ, каким должен быть на земле человек...» Тут он, кажется, стал жертвой идеала обожения, имевшего хождение в кругах монашества (о том, что и в этих кругах он был ложным, писал выдающийся русский богослов конца XIX – начала XX века Михаил Тареев). Однако Господь призывал человека стать совершенным («как совершен Отец ваш Небесный»), но не превращаться в бесплотного ангела.

Кроме того, считал Гоголь, «нельзя устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости...». Если сначала вызвать у читателей чувство ужаса и омерзения от современного строя их жизни, то можно будет пробудить у общества в целом и в каждом отдельном индивиде желание стать лучше, приблизиться к идеалу. Но путь к идеалу должен проходить через осмеяние пороков современного Гоголю русского человека, прежде всего – чиновника. Этой цели послужила комедия «Ревизор», в которой Россия чиновников была представлена как царство их произвола и лихоимства.

Розанов писал:

«План «Мертвых душ» в сущности, анекдот; как и «Ревизора» – анекдот же. Как один барин хотел скупить умершие ревизские души и заложить их; и как другого барина-прощельгу приняли в городе за ревизора. И все пьесы его, «Женитьба», «Игроки», и повести, «Шинель», – просто петербургские анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть. Они ничего собою не характеризуют и ничего в себе не содержат.

Поразительна эта простота, элементарность замысла. Гоголь не имел сил – усложнить план романа или повести в смысле развития или хода страсти – чувствуется, что он **и не мог бы представить**, и самых попыток к этому – в черновиках его нет.

Что же это такое? Странная элементарность души. Поразительно, что Гоголь и **сам не развивался**; в нем не перестраивалась душа, не менялись убеждения. Перейдя от малороссийских повестей к петербургским, он только перенес глаз с юга на север, но глаз этот был тот же».

Гоголь сам признавал, что в смысле общей устремленности своего творчества он не изменялся от юности до смерти:

«Внутренно я не изменялся никогда, – писал он уже в зрелые годы. – С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаюсь и не колеблюсь никогда во мнениях главных». «Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду».

Можно спросить Розанова: но чем же объяснить необычайный успех комедии и вообще творчества Гоголя? Его ответ прост:

«Успех» Гоголя (такого *никто* у нас не имел, – Пушкин и *тени* подобного успеха не имел) весь и объясняется тем, что, кроме плоско-глупого *по содержанию*, он ничего и не говорил, и, во-вторых, что он *попал, совпал* с самым гадким и пошлым в национальном характере – *с цинизмом, с даром издевательства* у русских, с силою *гогочущей толпы*... В сущности, Гоголь понятен: никакого – *содержания*, и – гений (небывалый) формы».

Но ведь «вся борьба, которая идет (начнется, – я думаю) в Европе, будет *борьбой за благодородное*. До сих пор царил фетиш гения... Ведь они писали про пошлость и пошлое. Мы поклонялись до сих пор форме. Все это – формальные гении, все это – гении формы. Нужно поклониться прекрасному не по форме, а прекрасному по содержанию. А прекрасное в сути и содержании – это *святое*.

Это – человек, а не обезьяна.

Это – не корыто, а – *подвиг*.

Это – холод, голод, нужда. Но – *с хорошей душой*.

Господа! Будем искать хорошую душу и поклонимся ей».

«Ревизор» можно назвать в известной степени и черновиком «Мертвых душ». Какая его главная идея (в трактовке самого Гоголя)? Жить надо по заповедям Христа. Если же ими пренебрегать, то, сколько ни хитри, ни воруй, ни обманывай, рано или поздно придет неумолимый Ревизор – Смерть, а далее последует Страшный суд, когда уже ничего в своей судьбе не изменить. (Потому-то в конце пьесы и следует немая сцена.)

А комедия получилась блистательная. Это, кажется, единственное произведение Гоголя, может быть, еще цикл петербургских повестей, которое живет и будет жить долго. Если даже в наши дни, когда «Ревизор» воспринимается как сцены из далекого прошлого, он пользуется неизменным успехом у зрителей, то что же сказать о реакции зала в те времена!

Люди состоятельные, в солидных чинах, присутствовавшие на премьере спектакля, кипели от возмущения. Но Николай I от души хохотал, а потом аплодировал артистам, поскольку сам давно говорил, что в России правит не император, а чиновник. По его словам, от писателя досталось всем, но больше всего ему, самодержцу всероссийскому. (Может быть, он хотел свалить на чиновников вину за то, что не проводятся реформы, в особенности отмена крепостного права?) Но с того времени произведения Гоголя одними воспринимались с восторгом, другими – как клевета на Россию.

Несмотря на одобрение пьесы, царь остался невысокого мнения о творчестве Гоголя. «У Гоголя много таланта, – сказал однажды Николай I, – но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие».

Сам Гоголь, хотя и получил большой гонорар за «Ревизора», был обескуражен реакцией зрителей. Он уверял, что изложенный выше смысл его пьесы (сколько ни хитри, ни воруй...) никем не был понят. Гоголь даже дополнительно написал (в двух редакциях) «Развязку к «Ревизору», где прямо говорилось:

«Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза, взглянуть на себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан, и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее». И т. д. Но этого объяснения Гоголя никто, по сути, всерьез не принял. Щепкин умолял Гоголя оставить «Ревизор» в той трактовке, в какой его восприняли и актеры, и зрители. К тому же автор был настолько увлечен живописными мелочами и подробностями, благодаря которым достигался необыкновенный комический эффект, что главная его мысль, если она была такой, какой он ее представлял в замысле и повторил в «Развязке», просто потерялась. Гоголь продолжал высмеивать страсть русского человека к подвигу. И его подвыпивший Хлестаков, из которого вырвалось на свободу чувство, что он достоин большего, чем унылая судьба коллежского регистратора, – это еще довольно безобидная насмешка по сравнению с другими ситуациями в творениях Гоголя. Возможно, тут был просчет в самом замысле. Увы, у Гоголя такое происходило не раз.

Что ж, Пушкин и рассказал Гоголю сюжет «Ревизора» как анекдот. Гоголь и не собирался сочинять роман или повесть, а задумал комедию, чтобы собрать все мерзкое на Руси и посмеяться над всем сразу. Если говорить конкретнее, то чтобы посмеяться над русским человеком. Он сам писал после постановки пьесы об образе Хлестакова:

«Это лицо должно быть так много разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадаетея и в натуре».

Но почему же в русском характере? Тартарен из Тараскона был русским? А барон Мюнхгаузен? А украинцы меньше самозабвенно ввали? Александр Привалов утверждает, что и сам Гоголь бывал Хлестаковым:

«...в некотором смысле Хлестаков – сочинитель, однотипный со своим создателем. Для обоих внешние обстоятельства суть только повод или личина, все же настоящее содержание своих творений они черпают из самих себя. Гоголь подчеркивал это свое свойство не раз и не два...»

Ведь куда бы то ни было вовне Гоголь, судя по его писаниям, вообще смотрел не часто – или, лучше сказать, не настойчиво. Перечтите любой его портрет (кроме карикатур) – поэтические восклицания, сверх которых: глаза такие-то, губы такие-то, шея, лоб... А то даже и так: Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Не увидено – сочинено. Ладно, спишем это, скрепя сердце, на эпоху. Теперь сюжеты. Сколько-нибудь сложных – у Гоголя (за вычетом «Тараса Бульбы») вроде и нет: во всех основных шедеврах сюжетами служат одноходовые анекдоты...»

Мало того, что Гоголь собрал в Хлестакове (он сам подчеркивал, что этот персонаж – не просто враль, а человек вполне «комильфо», светский) разные пороки русских людей. Он еще подобрал в уездном городке целый сонм чиновников-уродов. По отдельности в разных городках можно было встретить и лихоимца-городничего, и судью, откровенно признающегося, что берет взятки, и сверхлюбопытного почтмейстера, читающего чужие письма вместо художественной литературы, и попечителя богоугодных заведений, у которого в больнице пациенты «выздоровливают, как мухи». Но собрать такой букет уродов и поднести его зрителю, – на такое, видимо, тогда был способен только Гоголь. Мне как-то довелось читать об одном адмирале, который (дело было еще перед Октябрьской революцией) комплектовал личный состав кораблей однофамильцами. И командир миноносца взорвался, когда к нему

поступил на корабли лейтенант Иванов – 17-й... В России от гоголевского «букета» никто не взорвался, хотя недовольных было много.

Гоголь, работая над «Ревизором», видимо, не думал о том, что смех – страшное орудие разрушения, ибо то, что осмеяно, уже не страшно.

Вряд ли Гоголь понимал, что одно дело – борьба со злоупотреблениями чиновников, а другое – полная дискредитация чиновничества, этой опоры государства Российского во все времена. А для Гоголя чиновничество было абсолютным злом, и борьба с ним выливалась в борьбу с «империей зла». Поэтому вклад Гоголя (неосознаваемый, невольный) в становление сил, работавших на разрушение империи, весьма значителен. В итоге, как писал Николай Бердяев, в восприятии многих в «Ревизоре» получилась «Россия харь и морд», с ее «ограниченным русским свинством». И, видимо, не так уж был далек от истины Розанов, когда писал: «Нигилизм – немыслим без Гоголя и до Гоголя».

«Ревизор» еще тем выделяется из других творений Гоголя, что изображенные в нем ситуации вызывают у зрителей действительно смех, веселый смех. А вообще о смехе в произведениях Гоголя Андрей Белый писал:

«Самая родная, нам близкая, очаровывающая душу и все же далекая, все еще не ясная для нас песня – песня Гоголя.

И самый страшный, за сердце хватающий смех, звучащий, будто смех с погоста, и все же тревожащий нас, будто и мы мертвецы, – смех мертвеца, смех Гоголя!»

Непонимание гения обывателем – явление частое. Не понимала публика самые глубокие произведения Пушкина, позднее Чехова... Но эти гении не стремились проявить себя в социальной или религиозной области. Гоголь же и в литературе выступал как социальный писатель, а позднее становился религиозным проповедником. Поэтому его неадекватность была более заметной.

Коренную причину всех неудач Гоголя Мережковский видел в его раздвоенности, в том числе и религиозной (о чем будет сказано ниже). С одной стороны, Гоголь с юности мечтал служить благу отечества и человечества. Сначала ему казалось, что он сделает карьеру чиновника, но и самый первый опыт этой службы показал ему, что это не его путь. Тогда он решил стать просветителем народа, для чего добивался звания профессора. Но и труд ученого и учителя юношества оказался ему не по плечу. И тогда он связал все свои надежды с трудом на поприще литературном. Здесь он добился огромных успехов, которые его не только не радовали, но и причиняли ему невероятные страдания: у него все время получалось не то, что он хотел бы написать и передать людям, обществу.

С другой стороны, – пишет Мережковский, – отправляясь в Петербург, чтобы служить, Гоголь расспрашивает знающих людей, какая одежда сейчас самая модная. Одевался он, правда, безвкусно, но старался приобрести вещи модные, что стоило недешево. «У Гоголя даже в этой мелочи, в неумении одеваться, обнаруживается основная черта всей его личности – дисгармония, противоречие. Щегольство дурного вкуса».

К чему привела его эта раздвоенность, по Мережковскому, будет сказано ниже.

И вот Гоголь, как позднее и Розанов, возжаждал найти «хорошую душу». Сначала он заглянул на другой полюс чиновничества и разработал в «Шинели» (из которой якобы «все мы вышли») тему униженности «маленького человека» (добавив еще элемент сентиментальности), что стало началом «натуральной школы» в русской литературе. Затем вместе с Чичиковым Гоголь поехал по Руси.

## **В мире мертвых душ**

Гениальнейшим творением Гоголя принято считать первый том поэмы «Мертвые души». Принято считать, что в нем нарисована широкая картина русской жизни середины

XIX века, что, разумеется, ничуть не соответствует действительности. Гоголь сам писал: **«занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека»**. К тому же он понимал, что Россия его времени представляла собой вовсе не собрание уродов, которых он изобразил, не «Россию харь и морд» (Бердяев), а страну, переживавшую «золотой век» своей культуры, быстро наращивавшую экономическую мощь.

Повторю, что сюжет «Мертвых душ», как и «Ревизора» был подсказан Гоголю Пушкиным, но рассказан как анекдот. Хотя анекдот и был тогда широко известен, реальной основы под ним не имелось. Ни одного реального случая покупки «мертвых душ» в России не было, но Гоголь намеревался растянуть этот анекдот на целых три тома (на 33 главы)! История с носом майора Ковалева была невероятной, но о ней все же, вслед за автором, можно сказать: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; «редко, но бывают». А тут – ни единого случая, но «прогрессивная» часть читающей России смаковала первый том «Мертвых душ» и восхищалась. Чем? Небывальщиной! (Ведь есть такой разряд литературных произведений – не научной фантастики, а именно небывальщины.)

Сравните в этом отношении «Мертвые души» Гоголя и «Капитанскую дочку» Пушкина. Допустим, Петра Гринева не было в действительности. Он не участвовал в описываемых событиях. Но такое могло бы быть. Пушкин объездил места, связанные с восстанием Пугачева, беседовал с теми, кто помнил события того времени. Наставление, какое дает Гринев-отец сыну, оправляя его на службу, почти дословно совпадают с наставлением, какое давал своему сыну известный государственный деятель петровских времен Василий Татищев. То есть отношения в семье Гриневых, их понимание долга вполне соответствовали духу эпохи. Да и устройство и быт Белогорской крепости описаны вполне достоверно. По сравнению с таким пушкинским реализмом гоголевские «Похождения Чичикова» – это растянутый на сотни страниц анекдот, одобренный забавными сценами встреч главного героя с другими персонажами да лирическими отступлениями автора, льстящими русскому читателю, но по сути бессмысленными.

И откуда было взяться образам помещиков? «Гоголь не знал помещика и русской провинции (до окончания I тома «Мертвых душ»); он 8 часов просидел в Подольске на постоялом дворе и 7 дней в Курске (без интереса к Курску); все остальное в России увидел – мимоходом, из почтовой кареты... у Гоголя гипербола сидит на гиперболе; не может быть речи о натурализме «русских» красок у Гоголя; он знал Миргород, Нежин, Полтаву; «натура» Гоголя – украинский провинциальный быт; сквозь него – формирующийся быт мирового мещанства; украинская натура плюс узренный мещанский «интернационал», деленные на два, породили – гомункула, «ни то, ни се», вlepленного в центр провинциальной России...» «Ворона в павлиньих перьях закаркала с «Собрания сочинений Гоголя».

**Никакого описания России, как и картин русской жизни и типов русских людей, в поэме Гоголя нет.** Владимир Набоков лучше других понял, что для Гоголя это была игра (хотя писать он собирался нравоучительный трактат):

«Гоголь в этой первой части своей поэмы наслаждается, играет, то отдается великолепному полету фантазии (при этом, разумеется, раз тридцать перечеркивая каждую строку, но ведь в этом и есть игра), то искусным, незаметным движением направляет ее туда, куда требует стройность целого, – наслаждается, играет, летит, совершенно не заботясь о том, что именно найдет в его поэме пошлая мораль и недалекая общественная мысль. Ни тени публицистики, рассудочности, сарказма, желанья что-то доказать, обличить, выявить – ничего такого, конечно, в этой первой части нет и быть не могло. Единственное, что можно назвать рассудочным, это постоянно повторяющиеся намеки на вторую часть «Мертвых душ»: туманные, почти мистические обещания, связывающие будущее России с будущим гоголевской книги».

Конечно, сочиняя, Гоголь отталкивался от чего-то увиденного или услышанного (хотя запас реальных впечатлений от России был у него крайне скуден), но в целом «город Н.», в который въехал Чичиков, был только созданием воображения писателя, как, впрочем, и сам Чичиков, и его афера с покупкой мертвых душ».

Розанов свидетельствовал, что и спустя более полувека после выхода первого тома «Мертвых душ» шли споры о том, «был ли реалист Гоголь?». «Такой натуральный писатель», – твердили со времен Чернышевского. А на гоголевском празднике в Москве вдруг выступил яростный тезис, поддержанный почти школою (множеством голосов): «Гоголь был фантаст, не знавший действительности, даже ею не интересовавшийся»... Спорили «до зубов».

Розанов сравнивал сцены из произведений Гоголя, с одной стороны, и Тургенева, Гончарова, Льва Толстого и Достоевского – с другой: «те же деревни, поля и дороги, по которым, может быть, проезжал и герой «Мертвых душ», и те же мелкие уездные города, где он заключал свои купчие крепости. Но как живет все это у него (Тургенева), дышит и шевелится, наслаждается и любит. Те же мужики перед нами, но это уже не несколько идиотов, которые, чтобы разнять запутавшихся лошадей, неизвестно для чего влезают на них и колотят их дубинами по спинам. Мы видим дворовых и крепостных, но это не вечно пахнущий Петрушка и не Селифан, о котором мы знаем только, что он всегда бывал пьян. Какое разнообразие характеров, угрюмых и светлых, исполненных практической заботы или тонкой поэзии.

Всматриваясь в черты их, живые и индивидуальные, мы начинаем понимать свою историю, самих себя, всю окружающую жизнь, – что так широко разрослась из недр этого народа. Какой чудный детский мир разворачивается перед нами в грезах Обломова, в воспоминаниях Неточки Незвановой, в «Детстве и отрочестве», в сценах «Войны и мира», у заботливой Долли в «Анне Карениной»: и неужели все это менее действительность, чем Алкид и Фемистоклюс, эти жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто не издевался? А мысли Болконского на Аустерлицком поле, молитвы сестры его, тревоги Раскольникова и весь этот сложный, разнообразный, уходящий в безграничную даль мир идей, характеров, положений, который раскрылся перед нами в последние десятилетия, – что скажем мы о нем в отношении к Гоголю?

Каким словом определим его историческое значение? Не скажем ли, что это есть раскрытие жизни, которая умерла в нем, восстановление достоинства в человеке, которое он у него отнял?»

Но и этот надуманный первый том поэмы, хотя и вызвал ажиотаж в обществе, был понят публикой еще менее, чем «Ревизор». Даже и критики, понимавшие, что у Гоголя – не картина Руси, а творения его фантазии на эту тему, спорили, почему он разместил главы об отдельных помещиках в таком, а не в ином порядке. Андрей Белый усмотрел в этом идею: «Посещение помещиков – стадии падения в грязь; поместья – круги дантова ада; владетель каждого – более мертв, чем предыдущий; последний, Плюшкин, – мертвец мертвецов». (Ну, нет, мертвецы мертвецов – это у Гоголя в «Страшной мести»!) Вокруг этого вывода критика завязалась нешуточная дискуссия.

Вот и в наше время, скажем, герой рассказа В. Шукшина «Забуксовал» совхозный механик Роман Звягин в недоумении говорит школьному учителю: «... летит тройка, все удивляются, любят, можно сказать, дорогу дают – Русь-тройка!.. А кто в тройке-то? Кто едет-то? Кому дорогу-то? Так это Русь-то – Чичикова мчит? Это перед Чичиковым все шапки снимают?» Ведь в тройке-то шулер, мошенник, прохиндей, хмырь, который мертвые души скупал – какая же тут гордость?

Михаил Булгаков изобразил похождения воскресшего Чичикова в условиях свободного предпринимательства, открывшихся в начале нэпа, и тоже не нашел иного определения для Чичикова, кроме как «мошенник». Ну, а в эпоху «развитого социализма» и позднее Чичикова клеймили как типичного героя первоначального накопления капитала. Ныне же в нем подчас видят либо героя нашего времени, времени приобретателей, либо чуть ли не предтечу Антихриста.

Все эти трактовки в корне расходятся с замыслом самого Гоголя. Видимо, главная причина этого прочного непонимания поэмы – в том, что первый том «Мертвых душ» рассматривался (да часто и до сих пор рассматривается) как законченное произведение, тогда как Гоголь считал его лишь введением к главному действию.

Поэма должна была состоять из трех томов. В первом томе явился бы мир воистину «мертвых душ» – чичиковы, собакевичей и пр. Во втором томе – под действием высоких облагораживающих идей и встречи с идеальной личностью происходило бы пробуждение главного героя к новой, достойной жизни. А в третьем томе были бы показаны образы вполне совершенных людей, причем возрожденными к новой жизни появились бы и персонажи первого тома. Многие исследователи проводили аналогию между замыслом «Мертвых душ» Гоголя и «Божественной комедией» Данте. Но тогда получается, что современная Гоголю Россия (как она им изображена), Россия Ноздревых и Собакевичей – это ад. Россия, где преобразится Чичиков – это чистилище. А Святая Русь, где преобразятся все россияне, в том числе и герои первого и второго томов поэмы – это рай. Но вот Белинский-то знал о плане Гоголя и все же видел в Чичикове «человека гениального в смысле плута-приобретателя, но совершенно пустого и ничтожного во всех других отношениях».

Такой задачи – показа полнейшего преобразования человека, – какую поставил перед собой Гоголь, не ставил ни один великий писатель за всю историю мировой литературы. Удивляться тут нечему, писатели понимали, что это не их сфера. А Владимир Набоков, убежденный в то, что Гоголь не мог справиться с такой задачей, прямо писал, что Чичиков – плут и лгун, дьявольский «фантом», который **совершенно не способен к исправлению**. Несколько раз ему представлялась возможность обогатиться и, казалось бы, начать новую, честную жизнь, но он неизменно соскальзывал на прежнюю дорогу мошенничества. В советском кинематографе тоже была предпринята сходная попытка: герой фильма «У семи нянек» Афанасий Полосухин был взят бригадой рабочих из детдома на воспитание. Но он на каждом шагу обманывал своих наставников, воровал, лгал, пойманный на лжи – изворачивался; и хотя по законам соцреализма он должен был бы стать честным и достойным гражданином, вопрос о возможности такого его преобразования в фильме оставался открытым. Мошенников, для которых их занятие – либо проявление неискоренимого сребролюбия, либо вид художественного творчества, исправить невозможно. Я не уверен, что Остап Бендер, решивший после краха своих начинаний «переквалифицироваться в управдомы», смог бы стать рядовым, умеренным в своих желаниях советским служащим. А Гоголь целых десять лет трудился над «исправлением неисправимого». Насколько же он достиг своей цели и как оценили его творение читатели?

Он не только не достиг цели, ибо это было принципиально невозможно, но и надорвался сам. «Гоголь, обещав воплотить в себе невоплотимое, стал синицею, поджигающей море...» Читатели в массе своей опять его не поняли.

Гоголь призывал читателя «найти в себе» и убить в душе зародыши Чичикова и Собакевича, а публика поняла это как обличение не имеющих к ней отношения чичиковы и собакевичей (грубо говоря, «бей собакевичей!»). Впрочем, Гоголь сам предсказал, что читатель не захочет спросить самого себя наедине: «А нет ли во мне какой-нибудь части Чичикова?» Нет, он увидит своего знакомого, «имеющего чин не слишком большой, ни слишком малый, и скажет своему соседу, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вот Чичиков, Чичиков

пошел». Не захочет читатель принять на свой счет обличение пустоты, мертвенности души человека, подменившего высокие идеалы пошлыми идейками и предавшегося низменным страстям. Но в этом повинен и сам Гоголь. Ну, хорошо, допустим, человек обнаружил в себе зародыш Собакевича. Но ведь с таким же успехом он может найти в глубине своей души также зародыши и Ноздрева, и Коробочки. Опять-таки нужно художнику рисовать цельный характер, личность, пусть и не блещущую достоинствами, но не абстрактное воплощение какого-нибудь одного порока! А читатель, столкнувшись с таким пороком на двух ногах, постарается истолковать его как обличение системы, общественного строя, эпохи, забывая, что система и эпоха – в значительной мере такие, каковы сами люди, их создавшие и в них живущие. Да ведь природа человека мало изменилась за известный нам исторический период, и люди наших дней не так уж, в сущности, отличаются от людей далеких эпох. Те пороки, которые бичевала Библия, и ныне не только не исчезли из жизни людей, но, как подчас кажется, как раз достигли своего «расцвета». Именно этим и объясняется злободневность произведений классиков прошлого.

Скажу больше: природа человека оказалась гораздо сложнее, чем это представлялось писателям, психологам, богословам и религиозным проповедникам. Люди живут громадными стаями-государствами, между которыми время от времени возникают конфликты и даже кровопролитные войны.

Известный историк профессор Наталия Басовская говорит: наша цивилизация – это цивилизация войны. Мир – это миф.

В пору наступающего периодически ожесточения людей (как отдельных индивидов, так и громадных людских масс, армий, государств) оказывается, что тонкий покров их культурности и цивилизованности прорывается. И тогда открыто проявляется их обычно скрываемая или сдерживаемая нормами морали звериная сущность, и они прибегают к таким зверствам, пыткам и истязаниям, до каких ни один зверь не в состоянии додуматься. Благородные порывы, самоотверженные поступки случаются, но не они определяют общий облик эпох. Плоды научно-технического прогресса используются в первую очередь в военных целях, для создания все более совершенных орудий истребления «живой силы и техники противника». Во время Второй мировой войны люди нанесли самим себе, человеческому роду, природной среде неизмеримо больший урон, чем все стихийные бедствия и катастрофы за всю известную нам историю. А наши мирные деяния? Катастрофа на Чернобыльской АЭС была страшным ударом по всему живому на Земле, а теперь оказывается, что авария на АЭС в Фукусиме в десять раз опаснее, и еще неизвестно, перенесет ли человечество и эти «мирные» удары. Похоже, сбывается пророчество знаменитого ученого Ламарка: человечество, видимо, идет к своей цели – самоуничтожению, предварительно сделав непригодной для жизни среду собственного обитания. Стихия потребительства, этого всесветного и универсального обжорства, опасного не просто для здоровья, но и для самой жизни рода человечества, охватила мир, и, кажется, встань сегодня из могилы Александр Радищев, он повторил бы свою гневную филиппику. Обратив ее уже не против помещиков, а против всего рода людского: «Звери алчные, пьявицы ненасытные!» И, видимо, человек в эйфории от своих успехов, хотя они подчас и оборачиваются для него впоследствии бедами, слишком рано присвоил себе звание «человека разумного». Исторический процесс, творцами которого считают себя люди, идет стихийно, причем итог его будто бы уже предопределен, будущее уже существует, почему и позволено его видеть избранным ясновидящим, прозорливцам и пророкам. Глуповатые существа люди, если говорить не об индивидуумах, а о том, во что превращаются они, собранные в массу. И эти существа перевоспитать силой примера свято живущей личности? Не перевоспитали их ни Иоанн Креститель, ни Сам Христос, указавший путь к спасению, кажется, до сих пор людьми не понятый. Гоголю ли было справиться с такой задачей?

Гоголь сам предупреждал о живучести своих персонажей: «Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком».

Но ведь речь должна идти не только о Чичикове или Ноздреве. Мчится тройка с Чичиковым, но летит и Тройка-Русь, которой Гоголь пропел столь возвышенный гимн. А кто же едет в этой-то сказочной Тройке? А весь паноптикум уродов, которых Гоголь вывел в первом томе. Почему же должны сторониться другие народы и государства, чтобы дать дорогу этой Тройке? От страха или от отвращения? Ибо уважения такая Тройка с такими седоками никак не заслуживает.

«Царство трупов – вся русская действительность... Гоголь оправдывался: «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно». Но если бы Пушкин предвидел последствия своего совета, воскликнул бы он: «Голубчик, Николай Васильевич, делайте, что хотите! Пойте, пляшите, смейтесь, осмеивайте, – только: не придавайте такого значения моим словам!»

Одни критики восторгались первым томом «Мертвых душ», другие злобно порицали книгу. Константин Аксаков сравнил Гоголя с Гомером. Чернышевский впоследствии даже написал «Очерки гоголевского периода русской литературы», где громогласно объявил, что Гоголь открыл нам самих себя: дескать, мы до того и не знали, что такое хлестаковщина или маниловщина. (Вот уж, пожалуй, хрестоматийный пример того, как и гениальные критики столь грубо ошибаются.) Как писал Владимир Набоков, «по невероятному стечению обстоятельств, один из величайших мировых ирреалистов был произведен в какого-то столонячка русского реализма». А Владимир Панаев утверждал, что «Гоголю надо запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Лаврушки». Возмущало недовольных то, что писатель в целом губернтском городе (точнее – во всей России) не увидел ни одного благородного человека, ни одного светлого явления. Но изобразил этот город в такой высокохудожественной форме, что читатели воспринимали эту выдуманную им Россию более реальной, чем действительно существовавшую. Задачу показа «пошлости пошлого человека» он решил блестяще, но что дальше, во имя чего эта картина? Некоторые критики говорят, что именно с этого момента русская литература все больше отделялась от действительности и все больше отходила от реальности, и более всех преуспела в этом, как это ни странно, именно «натуральная школа», принципом которой, казалось бы, должна была стать именно верность «натуре».

Думается, неправы были и те, и другие. Вклад Гоголя в русскую литературу огромен. И прежде блистали в ней молдаванин Кантемир, немец Фонвизин, но малоросс Гоголь превзошел всех «пришельцев». Однако в образах, созданных воображением Гоголя, нелепо видеть воплощение человеческих типов, в особенности типов русского человека, и реальных общественных отношений в тогдашней России. Ни Собакевича, ни Манилова даже нельзя было назвать персонажами. Это нечто вроде экспонатов музея восковых фигур. Они очень похожи на персон, которых представляют. В принципе, наверное, можно сделать их даже движущимися. Но жизни в них не было и нет. Лучше всех это понял Розанов:

«Гоголь копошится в атомах... «Элементы», «первые стихии» души человеческой: грубость (Собакевич), слащавость (Манилов), бестолковость (Коробочка), пролазничество (Чичиков). И прочее. Все элементарно, плоско... Нет жизни. «Мертвые души». Отсюда сразу такая его понятность. Кто же не поймет азбуки?... Отсюда-то его могущество. Сели его «элементы» на голову русскую и как шапкой закрыли все. Закрыли глаза всем. Ибо Гоголь ее (сила таланта) «нахлобучил на нас». «Темно на Руси». Но это, собственно, темно под гоголевской шапкой». Таким, как у Гоголя, может быть русский человек, когда у него «души нет»... «Мертвые души» и «Ревизор» – лубок. Лубочная живопись гораздо ярче настоящей...

Сразу всем понятно... Сразу никакое искусство не может стать всем понятно: оно слишком полно, содержательно и внутренне для этого. Ведь Гоголь – он весь внешний. Внутреннего – ничего... Ничего праведного, любящего, трогательного не пошло от Гоголя».

И еще: «...весь Гоголь, весь – кроме «Тараса» и вообще малороссийских вещей, – есть пошлость в смысле постижения, в смысле содержания. **И – гений** – по форме, по тому, **«как»** сказано и рассказано.

Он хотел выставить «пошлость пошлого человека». Положим. Хотя очень странная тема. Как не заняться чем-нибудь интересным. Но его заняла, и на долго лет заняла, во всю зрелую жизнь, одна пошлость. Удивительное призвание». Продолжение я цитировать не рискую, желающие могут посмотреть его сами. (Розанов В.В. Т. 2. Уединенное. М., 1990. С.315.) Но последнюю фразу все же приведу: «Никогда более страшного человека... **подобия** человеческого... не приходило на нашу землю». Это «демон, хватающийся боязливо за крест» (перед смертью). Ибо Гоголь не был «религиозным лицом», и его «страх перед религией – страх перед темным, неведомым, чужим».

Ну, Русская земля видела людей или подобия людей и пострашнее. А вот при суждениях о влиянии Гоголя на последующее развитие русской литературы к мнению Розанова стоит прислушаться. Розанов, говоря о Гоголе, задавался вопросом: «Откуда эта беспредельная злоба?» И иллюстрировал свой вопрос строками из Пушкина:

И ничего во всей природе  
Благословить он не хотел.

Во всяком случае – в России. В дорогой его сердцу Италии он найдет немало прекрасного, заслуживающего уважения и почитания (сошлюсь опять-таки на его «Рим»).

Андрей Белый сходным образом характеризует творческую манеру Гоголя:

«Такого величия в изображении мелочей не знала мировая литература; его неуловимо тонкий прием охарактеризую при помощи грубой модели: соедините «все» с «ничего»; получится «что-то», «в некотором роде...» и т. д.; в итоге таких приблизительностей, дающих и перелет, и недолет (мимо цели), предмет излучает специфический колорит: «ни то, ни се»; предмет не «неверно изображен»; вместе с тем: он не показан; он – в полутенях атмосферы, а кажется выпуклым в своем тусклом ничтожестве...»

И все же, пусть только и чтобы создать волшебную форму, нужно иметь огромный талант. Розанов признавался:

«Перестаешь верить действительности, читая Гоголя. Свет искусства, льющийся из него, заликает **все**. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему». А Розанову было с кем сравнивать Гоголя, уже владел умами русской интеллигенции Салтыков-Щедрин. Однако с точки зрения Розанова, «Щедрин около Гоголя – как конюх около Александра Македонского. Да Гоголь и есть Алекс. Мак. Так же обширны и велики завоевания. И «вновь открытые страны». Даже «Индия» есть». Поэтому «ни один политик и ни один политический писатель **в мире** не произвел в «политике» так много, как Гоголь». С Гоголя в литературе все больше крепнет та линия, которая увлекается игрой слов и все в меньшей степени становится орудием познания действительности и самопознания человека и народа.

Не просто невысоко оценил, а прямо пригвоздил наиболее известные творения Гоголя такой выдающийся русский критик и эстет, как Константин Леонтьев. В статье «Два графа» он отметил «...мрачный призрак... Гоголя «Мертвых душ» и «Ревизора»; призрак некрасивый, злобно-насмешливый, уродливый. Выхолощенный какой-то, но страшный по своей принижающей силе».

Из этого серого мрака едва-едва «высвобождаются» потом последующие русские писатели. «Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился... Лев Толстой... Только у Толстого действительность русская во всей полноте своей возвращает свои права со времен серых «Мертвых душ» и серого «Ревизора»... Да, литература часто отрывается от действительной жизни, но именно начиная с Гоголя, этот отрыв становится всеобъемлющим.

«Было время, когда о мужике, например, у нас никто не писал; писали о военных героях; потом явился Гоголь, – и запретил писать о героях (разве о древних, вроде Бульбы), а о мужиках позволил. И все стали писать даже не о мужиках, а о «мужичках». Гоголь разрешил также писать о жалких чиновниках, о смешных помещиках и о чиновниках вредных... И множество молодых русских... стали рвать на себе волосы, звать себя прямо из Гоголя «дрянь и тряпка» (болваны!) и находить себя ни на что не годными... Впрочем, что и говорить о людях бездарных, когда даже и у таких умных писателей, как Глеб Успенский, Немирович-Данченко... Помяловский и т. д., – Гоголь так и дышит из каждой строки! Все не грубое, не толстое, не шероховатое, не суковатое им и не дается... Сами в жизни они, вероятно, слишком опытные и умные, чтобы не видеть иногда и нечто другое, но как писатели – как же могут они высвободиться из тисков той сильной, но в своей силе неопытной и жесткой руки Гоголя... когда ни Достоевский, ни Писемский, ни Гончаров не могли не подчиниться ей, один так, другой иначе?... И у Льва Толстого можно найти... следы этой гоголевщины...»

**Принижающая сила, разрушительный характер творчества Гоголя – вот в чем, по Леонтьеву, заключается крайне вредное его влияние на литературу и общество.**

Обидно почитателям Гоголя? Да. Но ведь никто не сможет отрицать, что названные герои Гоголя – маски. Потому-то они и стали нарицательными. И Гоголь пополнил мировую коллекцию таких масок, служащих для обозначения определенных страстей и пороков человеческих. Сложнейшее существо – человек – сведен им к одной черте характера. А иного у Гоголя и не могло получиться, он сам признавал, что создавал эти образы, выискивая отрицательные черты самого себя (то есть каждую черту в отдельности) и доводя их до логического конца. Даже если он списывал своих героев с конкретных людей, он не в состоянии был нарисовать их портреты в силу удивительной однобокости своего таланта. Гоголь был комик, он обладал редким талантом комического актера, что доказывал блестящим исполнением различных (в том числе и женских) ролей в пьесах, которые ставились учащимися Нежинского лицея, где он учился. Когда ему потребовалось отдохнуть от зубрежки и получить некоторое свободное время, он симулировал психическое заболевание, да так, что и врачи признали его заболевшим и поместили в больницу (возможно, этот опыт пригодился ему впоследствии при работе над «Записками сумасшедшего»). Не зря преподаватели лицея характеризовали Гоголя кратко: «туп, слаб, но резов». Таким комиком он и оставался: «Ведь ты, братец, сам делаешься комическим лицом!» – говорит ему Погодин. «Я именно комик, – соглашается Гоголь, – и вся моя фигура карикатурна». (Давно замечено, что комики – писатели и актеры, умеющие рассмешить читателей или зрителей, в повседневной жизни нередко бывали угрюмыми и нелюдимыми.)

Гоголь просто не умел видеть человека целиком, или, как деликатно высказывается Александр Привалов: «Ведь куда бы то ни было вовне Гоголь, судя по его писаниям, вообще смотрел не часто – или, лучше сказать, не настойчиво. Перечтите любой его портрет (кроме карикатур) – поэтические восклицания, сверх которых: глаза такие-то, губы такие-то, шея, лоб...» Гоголь схватывал какую-нибудь одну смешную или забавную черту в человеке – и этого ему было достаточно, чтобы нарисовать комический (а иногда и восхитительный) образ. Попробую показать это на примере, когда Гоголь описывал самую красивую девушку, поразившую его, как ни одна другая женщина, – и тут он вынужден был ограничиться двумя-тремя чертами, после чего переходил на восклицания, выражающие восхищение. Речь идет

о героине не написанного Гоголем романа «Рим», называемого просто «отрывком». Началом романа отрывок можно считать потому, что он начинается восторженным гимном красоте альбанки Аннунциаты, затем идет жизнеописание молодого князя (безымянного), далее рассказывается, как князь был ошеломлен красотой Аннунциаты, мельком увидев ее проезжающей во время карнавала. Князь призвал человека для разных поручений, чтобы тот помог ему найти Аннунциату Видимо, дальше должен был развернуться роман Аннунциаты с князем. Но князь, зачарованный красотой Рима и его окрестностей, кажется, забыл, зачем вызвал порученца, и на этом отрывок (менее 50 страниц) кончался.

Кстати сказать, почему-то все, пишущие о «Риме», называют Аннунциату албанкой. Розанов, пораженный красотой увиденной им однажды албанки, даже пустился в изыскания и в конце концов удовлетворился утверждением, что албанцы – это чистые греки, избежавшие смешения с другими этносами и потому сохранившие красоту и изящество классических форм. Но в действительности Аннунциата была чистокровной итальянкой, видимо, родом из городка Альбано близ Рима. Гоголь сам упоминает об альбанских горах, о других альбанских горожанках (которые, разумеется, не смеют сравниться красотой с Аннунциатой), а также о дороге, ведущей из Альбано в Кастель-Гандольфо (это все места в окрестностях Рима, в Кастель-Гандольфо располагается также летняя резиденция папы римского).

Итак, вот «самый лучший портрет женщины», вышедший из-под пера (кисти) Гоголя: «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четыремя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица – образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем – благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подбрюшными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту невиданных землею плеч – и там она чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец созданья, от плеч до античной дышущей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она – уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове – вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность...» И так еще полторы страницы.

Впечатление достигнуто, образ ангела во плоти читатель воспринял, но нарисован ли портрет этой красавицы? Полна или худощава, каков овал ее лица, какие у нее губы и т. д. Даже о цвете ее глаз приходится догадываться, хотя их взгляд и сравнивается с молнией. Над тем, как описана грудь Аннунциаты, иронизировал уже Александр Привалов, напомним эту фразу: «Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц». А Розанов по поводу фразы «Аннунциата была высока ростом и бела, как мрамор», заметил: «такие слова мог сказать только человек, не взглянувший ни на какую женщину, хоть «с каким-нибудь интересом».

Вот почему Гоголь, не умевший создать реалистические цельные образы, вынужден был их упрощать и сводить к носителю определенного порока или комического свойства. Но и этого мало. Найдя в человеке что-либо достойное осмеяния, он еще (как сам признавался) нагружал его образ собственными гадостями, недостойными качествами. Ясно, что вышли из-под его пера только персонажи-маски, уже не имевшие с прежним прототипом почти ничего общего. Мы не замечаем этой «непортретности» Гоголя, скажем, в «Мертвых душах», наверное, благодаря замечательным графикам Агину и Вернадскому, создавшим

классические иллюстрации к его поэме и давшим нам цельные портреты персонажей, которых в самом произведении нет.

По этой причине я не любитель разбирать достоинства и недостатки гоголевских персонажей, но иногда это делать приходится. Михаил Саяпин обличает Гоголя в преднамеренном принижении своих героев. Вот цитата из его анализа гоголевского творчества:

«Вот Манилов – образцовый офицер, прекрасный семьянин. Собакевич – крепкий хозяйственник, заботящийся о крестьянах. И как они все называются? Правильно, «мертвые души»! Нет у них, видите ли, стремления к чему-то высокому! Да, Плюшкин, конечно, настоящая «прореха на человечестве», но все же с точки зрения безобидности для человечества он, небось, получше будет Пацюка или Солохи?

Итак, вне зависимости от желания автора все подряд хохлы для него – свои; в России же сплошь мертвые души.

Справедливости ради надо отметить, что мертвые души наблюдаются и в Малороссии. Но это омоскаленные хохлы: Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, втянутые в ужасную трясику москальской бюрократической судебной машины; Шпонька, начавший свою жизнь со служения далекому Белому Царю, выпавший из жизни, боящийся даже мысли о будущей жене и т. д. . . в 1-й части «Мертвых душ» действуют уроды-русские, а во 2-й части положительный образец – то ли грек, то ли турок.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.